



**ЖАН ПОЛЬ**

**САРТР**

*ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я    К Л А С С И К А

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КЛАССИКА (АСТ)

Жан-Поль Сартр  
**Возраст зрелости**

«Издательство АСТ»

1945

УДК 821.133.1-2  
ББК 84(4Фра)-6

**Сартр Ж.**

Возраст зрелости / Ж. Сартр — «Издательство АСТ»,  
1945 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-093535-2

«Возраст зрелости» (1945) — первый роман трилогии Сартра «Дороги свободы». Три дня из жизни Матье, университетского преподавателя философии, перед которым встает сложный выбор. Вступить в «буржуазный» брак с женщиной, ждущей от него ребенка, или продолжить поиски собственной свободы? Этот простой на первый взгляд сюжет служит лишь обрамлением для подлинного содержания романа — художественного исследования на вечную экзистенциальную тему поисков истинной свободы, ее смысла, сути и той цены, которую человек готов — или не готов — заплатить за ее обретение. В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

УДК 821.133.1-2

ББК 84(4Фра)-6

ISBN 978-5-17-093535-2

© Сартр Ж., 1945  
© Издательство АСТ, 1945

## Содержание

I	6
II	18
III	28
IV	38
V	48
VI	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

# **Жан Поль Сартр**

## **Возраст зрелости**

*Ванде Козакевич*

Jean-Paul Sartre

L'AGE DE RAISON (LES CHEMINS DE LA LIBERTE I)

Перевод с французского *Д. Вальяно, Л. Григорьяна*

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1945 © Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2015

© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2015

© Издание на русском языке

AST Publishers, 2016

## I

Посреди улицы Верцингеторига какой-то верзила схватил Матье за руку; на другой стороне по тротуару прохаживался полицейский.

– Дай мне что-нибудь, шеф, я хочу есть.

У него были близко посаженные глаза, из толстогубого рта разило алкоголем.

– А может, выпить? – спросил Матье.

– Ну что ты, старина, что ты, ей-богу, нет, – заплетающимся языком пробубнил верзила.

Матье нашарил в кармане монету в сто су.

– Да мне на это наплевать, – успокоил его Матье, – это я так, к слову.

И протянул монету.

– Молодец, – забормотал, прислоняясь к стене, верзила. – Сейчас я пожелаю тебе что-нибудь потрясающее. Скажи-ка, чего тебе пожелать?

Оба они задумались, потом Матье сказал:

– Чего хочешь.

– Ну ладно, пожелаю тебе счастья, – изрек верзила, – вот так!

Он победоносно засмеялся. Матье увидел, что полицейский приближается к ним, и встревожился за пьянчугу.

– Ну, хватит, – поторопил он его. – Прощай!

Он хотел уйти, но верзила его задержал.

– Одного счастья мало, – сказал он мягко, – это мало.

– Что ты имеешь в виду?

– Хочу тебе что-нибудь подарить...

– Сейчас я задержу тебя за попрошайничество, – пригрозил полицейский.

Он был совсем молодой, розовощекий, но пытался напустить на себя суровость.

– Ты уже полчаса пристаешь к прохожим, – добавил он неуверенно.

– Он не попрошайничал, – живо возразил Матье, – мы просто разговаривали.

Полицейский пожал плечами и отправился своей дорогой. Верзила основательно шатался; казалось, он даже не заметил полицейского.

– Придумал, что тебе подарить. Подарю тебе марку из Мадрида.

Он вынул из кармана зеленый картонный прямоугольник и протянул его Матье. Матье прочел надпись на испанском и французском:

«С.П.Т. Конфедеральный ежедневник. Оттиск 2. Франция. Анархосиндикалистский комитет, 41, улица Бельвиль. Париж XIX». Марка была приклеена под адресом. Она была тоже зеленая, с мадридским штампом. Матье протянул руку:

– Большое спасибо.

– Осторожно! – прорычал верзила. – Это же... это же из Мадрида!

Матье посмотрел на него: у того был взволнованный вид, он делал отчаянные усилия, чтобы выразить свою мысль. Потом отказался от этого и только повторил:

– Из Мадрида!

– Я понял.

– Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось.

Он помрачнел, сказал: «Подожди», – и медленно провел пальцем по марке.

– А теперь можешь ее взять.

– Спасибо.

Матье сделал несколько шагов, но субъект окликнул его:

– Эй!

– Чего тебе? – спросил Матье.

Тот показал ему издалека монету.

– Тут один тип дал мне сто су. Хочешь, угощу тебя ромом?

– Как-нибудь в другой раз.

Матье ушел со смутным сожалением в сердце. В его жизни был период, когда он бесцельно слонялся по улицам и по барам и первый встречный мог его куда-нибудь пригласить. Теперь с этим покончено: к чему? Но типчик попался презабавный. Он собирался сражаться в Испании. Матье ускорил шаг и с раздражением подумал: «Так или иначе, нам нечего было сказать друг другу». Он вытащил из кармана зеленую открытку: «Она из Мадрида, но адресована явно не ему. Вероятно, кто-то ему ее дал. Перед тем как подарить, он много раз потрогал ее – еще бы, она пришла из Мадрида! На его физиономии было написано странное волнение». Матье, в свою очередь, на ходу посмотрел на марку, затем опустил картонный прямоугольник в карман. Раздался гудок локомотива, и Матье подумал: «Я уже старик».

Было без двадцати пяти одиннадцать; Матье пришел раньше условленного срока. Он прошагал, не останавливаясь и даже не поворачивая головы, мимо маленького голубого домика. И все же искоса посмотрел на него: все окна были темны, кроме окна мадам Дюффе. Марсель еще не успела открыть входную дверь. Она сейчас склонялась над матерью и грубыми мужскими движениями устроивала ее в большой кровати с балдахином. Матье был мрачен, он думал: «Пятьсот франков, а ведь надо дотянуть до двадцать девятого, это по тридцать франков в день, даже меньше. Как я управлюсь?» Он повернул и пошел обратно.

В комнате мадам Дюффе свет погас. Через какое-то время осветилось окно Марсель; Матье пересек мостовую, прошел мимо бакалейной лавки, стараясь не скрипеть новенькими подошвами. Дверь была приоткрыта; он слегка толкнул ее, она скрипнула: «В среду принесу масленку и смажу петли». Он вошел, закрыл дверь, в темноте разулся. Ступеньки слегка поскрипывали: Матье осторожно поднялся по лестнице, держа в руках туфли; он нащупывал каждую ступеньку ногой, прежде чем стать на нее. «Какой фарс», – подумал он.

Марсель открыла дверь раньше, чем он добрался до площадки. Розовый, пахнущий ирисом пар просочился из комнаты и распространился по лестнице. Марсель была в зеленой рубашке. Матье увидел просвечивавшую сквозь нее нежную и массивную округлость ее бедер. Он вошел; ему всегда казалось, что он входит в раковину. Марсель заперла дверь на ключ. Матье направился к большому шкафу, встроенному в стену, открыл его и поставил туда свои туфли, потом посмотрел на Марсель и почувствовал что-то неладное.

– Что-нибудь не так? – тихо спросил он.

– Нет, все в порядке, – тихо отозвалась Марсель, – а у тебя?

– Все в норме.

Он поцеловал ее в шею и в губы. Шея пахла амброй, а губы – обыкновенным дешевым табаком. Пока Матье раздевался, Марсель присела на край кровати и рассматривала свои ноги.

– А это что? – спросил он.

На камине стояла фотография, которую он еще не видел. На ней была стройная девушка, причесанная под мальчика, со строгой и застенчивой улыбкой. На девушке был мужской пиджак и туфли без каблучков.

– Это я, – сказала Марсель, не поднимая головы.

Матье обернулся: Марсель задрала рубашку над полными бедрами; она наклонилась вперед, и Матье угадывал под рубашкой нежность ее тяжелой груди.

– Где ты ее отыскала?

– В альбоме. Она снята летом двадцать восьмого года.

Матье аккуратно свернул пиджак и положил его в шкаф рядом с туфлями. Он спросил:

– Ты теперь смотришь семейные альбомы?

– Нет, но сегодня, не знаю почему, мне захотелось снова найти что-то из моей прежней жизни, какая я была до того, как узнала тебя, когда я еще была здорова. Дай ее мне.

Матье протянул ей фотографию, и она вырвала ее у него из рук. Он сел рядом. Марсель вздрогнула и немного отодвинулась. Она рассматривала фотографию, неопределенно улыбаясь.

– А я тут забавная, – наконец сказала она.

Девушка стояла напряженно, облокотившись о садовую решетку. Рот ее был полуоткрыт; должно быть, она тоже говорила: «А я забавная», – говорила так же неловко и напряженно, с таким же скромным вызовом. Только тогда она была молодой и худощавой.

Марсель покачала головой.

– Забавно! Забавно! Меня снял в Люксембургском саду студент-фармаколог. Видишь эту блузку? Я ее в тот же день купила, потому что в следующее воскресенье намечалась большая прогулка в Фонтенбло. Боже мой...

Нет... Определенно, что-то случилось. Никогда ее движения не были такими резкими, а голос таким грубым, таким мужским. Она сидела в глубине розовой комнаты на краю кровати, больше, чем обнаженная, – беззащитная, как большая китайская ваза, и было мучительно слушать, как она говорит низким голосом и пахнет острым звероватым запахом. Матье взял ее за плечи и притянул к себе.

– Ты жалеешь о том времени?

Марсель сухо ответила:

– О том времени нет: я жалею о несостоявшейся жизни.

Когда-то она была погружена в свои занятия химией, но болезнь прервала их. Матье подумал: «Такое впечатление, что она злится на меня». Он открыл было рот, чтобы спросить Марсель об этом, но увидел ее глаза и промолчал. Она разглядывала фотографию грустно и напряженно.

– Я растолстела, да?

– Да.

Марсель пожала плечами и бросила фотографию на кровать. Матье подумал: «А ведь действительно жизнь у нее не сложилась». Он хотел поцеловать ее в щеку, но она, нервно усмехнувшись, мягко воспротивилась этому и сказала:

– С тех пор прошло десять лет.

Матье подумал: «Я ей ничего не даю». Он приходил к ней четырежды в неделю; он подробно рассказывал о своих делах, она давала ему советы серьезным и категоричным тоном и часто говорила: «Я живу чужой жизнью». Он спросил:

– Что ты делала вчера? На улицу выходила?

Марсель сделала усталый округлый жест.

– Нет, я слишком утомилась. Немного почитала, но мама все время приставала с магазином.

– А сегодня?

– Сегодня выходила, – угрюмо сказала она. – Захотелось подышать свежим воздухом, потолкаться среди людей. Я дошла до улицы Гэтэ, чтобы развеяться; затем решила повидать Андре.

– Ты была у нее?

– Да, минут пять. Когда я вышла от нее, начался дождь, странный нынче июнь, и потом у людей были такие гнусные рожи... Я взяла такси и вернулась...

Она вяло спросила:

– А ты?

Матье не хотелось распространяться. Он сказал:

– Вчера пошел в лицей прочитать последние лекции. Обедал у Жака; как всегда, это было невыносимо скучно. Сегодня утром зашел в бухгалтерию – узнать, не могут ли мне дать аванс.



Оказывается, это не положено. Тем не менее в Бовэ я обо всем договорился с управляющим. Потом я встречался с Ивиш.

Марсель подняла брови и внимательно посмотрела на него. Матье не любил говорить с ней об Ивиш. Он добавил:

– Она сейчас не в духе.

– Это почему?

Голос Марсель окреп, лицо ее приняло разумное мужское выражение; сейчас у нее был вид толстого левантинца. Он процедил сквозь зубы:

– У нее переэкзаменовка.

– Но ты мне говорил, что она занимается.

– Да... на свой лад, то есть она часами сидит над книгой, не шевелясь, но ты ведь знаешь, какая она: у нее, как у душевнобольных, бывают приступы. В октябре она выучила по ботанике все, и экзаменатор был доволен, а потом она вдруг поняла, что сидит перед лысым типом, говорящим с ней о кишечнорастворимых. Ей это показалось смешным, она подумала: «Плывать я хотела на кишечнорастворимых», – и лысый не смог уже вытянуть из нее ни слова.

– Странная барышня, – задумчиво сказала Марсель.

– Во всяком случае, я боюсь, что она повторит этот номер. А нет, так еще что-нибудь учудит, вот увидишь.

Что означал этот его тон, тон снисходительного равнодушия – разве не ложь? То, что можно было выразить словами, он выражал. «Но что такое слова!»

С минуту он колебался, потом обескураженно опустил голову: Марсель знала все о его чувстве к Ивиш, она даже смирилась бы с этой любовью. Требовала она только одного: чтобы он говорил об Ивиш именно таким тоном. Матье, не переставая, поглаживал ее по спине, и Марсель начала помаргивать: она любила, когда он гладил ее по спине, особенно по пояснице и между лопаток. Но внезапно она высвободилась, лицо ее посуровело. Матье сказал ей:

– Послушай, Марсель, мне плевать, что у Ивиш переэкзаменовка, она не больше меня годится для медицины. Как бы то ни было, если сейчас у нее и выгорит, в следующем году ей станет дурно при первом же вскрытии, и ноги ее больше не будет на факультете. Но если на этот раз она провалится, то наделает глупостей. Тем более что в случае провала ее семья запретит ей пробовать еще раз.

Марсель спросила его с расстановкой:

– Какие именно глупости ты имеешь в виду?

– Не знаю, – растерянно пробормотал он.

– Бедняга, как хорошо я тебя изучила. Ты никогда этого не признаешь, но ты боишься, что она продырявит себе пулей шкуру. И он еще заявляет, что ненавидит романтику. Скажи, пожалуйста, ты что, никогда не видел ее кожи? Да ее можно пальцем проткнуть. И ты воображаешь, что куколки с такой кожей будут портить себя выстрелом из револьвера? Я еще могу представить, как она рухнет на стул, волосы свисают на лицо, как она смотрит замороженным взглядом на лежащий перед ней маленький браунинг, – все это очень по-русски. Но представить другое – нет, нет и нет! Револьвер, дружок, предназначен для такой крокодильей кожи, как моя.

Она приложила свою руку к руке Матье. У него кожа была бледнее.

– То ли дело моя. Погляди-ка, ни дать ни взять сафьян.

Она засмеялась:

– Из меня вполне можно сделать шумовку, ты как думаешь? Я легко представляю себе под левой грудью прелестную круглую дырочку, красненькую, с четкими и чистыми краями. Это не было бы противно.

Она все еще смеялась. Матье закрыл ей рот ладонью:

– Замолчи, разбудишь старуху.

Марсель замолчала. Он сказал ей:

– Какая ты взвинченная!

Она не ответила. Матье положил руку ей на бедро и нежно погладил его. Он любил эту плоть, мягкую под ласками, как масло, с легкими, будто подрагивающими волосками. Марсель не шевелилась: она глядела на руку Матье. Матье убрал руку.

– Посмотри на меня, – сказал он.

На мгновение он увидел круги у нее под глазами, ее надменный и безнадежный взгляд.

– Что с тобой?

– Ничего, – отрезала она, отворачиваясь.

И всегда с ней так: она напряжена. Скоро она не в силах будет сдерживаться: ее прорвет. Остается только заполнить чем-нибудь время и ждать. Матье терпеть не мог этих безмолвных взрывов: страсть в этой комнате-раковине была непереносима, потому что ее нужно было выражать тихим голосом и без резких движений, чтобы не разбудить мадам Дюффе. Матье встал, подошел к шкафу и взял из кармана пиджака картонный прямоугольник.

– Взгляни-ка.

– Что это?

– Какой-то тип сунул только что на улице. У него была симпатичная физиономия, и я дал ему немного денег.

Марсель безразлично взяла открытку. Матье почувствовал себя чем-то связанным с тем человеком, чем-то вроде сообщничества. Он добавил:

– Знаешь, для него это, видно, что-то важное.

– Он анархист?

– Не знаю. Он предложил мне выпить.

– И ты отказался?

– Да.

– А почему? – небрежно спросила Марсель. – Наверное, это было бы занятно.

– Не думаю, – сказал Матье.

Марсель подняла голову, близоруко и насмешливо взирая на настенные часы.

– Когда ты рассказываешь такое, – сказала она, – это мне действует на нервы. Скажу одно: твоя жизнь полна упущенных возможностей.

– И это, по-твоему, упущенная возможность?

– Да. Раньше ты сделал бы все, что угодно, чтобы спровоцировать подобную встречу.

– Возможно, я немного изменился, – добродушно сказал Матье. – Что ты имеешь в виду?

Что я постарел?

– Тебе тридцать четыре года, – просто сказала Марсель.

Тридцать четыре. Матье подумал об Ивиш и испытал легкую досаду.

– Да... Но я отказался скорей из щепетильности. Понимаешь, я не в курсе этих дел.

– Сейчас ты редко бываешь в курсе, – заметила Марсель.

Матье живо добавил:

– Впрочем, он тоже не был в курсе: когда человек пьян, он невольно впадает в патетику.

Этого я и хотел избежать.

Он подумал: «Это не совсем верно. Об этом я не размышлял». Он старался быть искренним. Матье и Марсель договорились всегда говорить друг другу все.

– Видишь ли... – начал он.

Но Марсель рассмеялась. Тихое и нежное воркование, как в те минуты, когда она гладила его по голове, приговаривая: «Мой бедный мальчуган». Однако вид у нее был неласковый.

– Узнаю тебя, – сказала она. – Ты боишься патетики! И все-таки, наверно, ты мог бы быть немного патетичен с этим парнем? Что в этом дурного?

– Ну и что это дало бы мне? – спросил Матье.

Он защищался от себя самого.

Марсель неприветливо улыбнулась. «Она меня достает», – рассеянно подумал Матье. Он был настроен миролюбиво, немного отупел, пожалуй, был в хорошем настроении и не хотел спорить.

– Послушай, – сказал он, – ты не права, что придаешь такое значение этой истории. Да у меня и времени не было: я шел к тебе.

– Ты совершенно прав, – сказала Марсель. – Это пустяк. Просто пустяк, яйца выеденного не стоит... Но тем не менее это симптоматично.

Матье вздрогнул: только бы она не употребляла эти отвратительные словечки.

– Ну, выкладывай, – сказал он. – Что ты тут видишь такого интересного?

– Ну, – ответила она, – во всем виновата твоя знаменитая трезвость. Ты забавен, старина, ты так боишься обмануть сам себя, что скорее откажешься от самого прекрасного приключения на свете, чем рискнешь солгать себе.

– Ну да, – сказал Матье, – ты это хорошо знаешь. Это давно так.

Он считал, что она несправедлива. При чем тут «трезвость»? (Он ненавидел это слово, но Марсель с некоторых пор стала его употреблять. В прошлом году вместо него было слово «поспешность»: слова держались не дольше сезона.) Эту «трезвость» они культивировали вместе, они были за нее в ответе один перед другим, это и было глубинной сутью их любви. Когда Матье принял свои обязательства по отношению к Марсель, он навсегда отказался от мыслей об одиночестве, от свежих тенистых внезапных мыслей, которые когда-то у него возникали с затаенной живостью рыбок. Он мог любить Марсель только в абсолютной трезвости: она была его трезвостью, его товарищем, свидетелем, советчиком и судьей.

– Если бы я врал себе, – сказал он, – мне бы казалось, что одновременно я вру и тебе. Это было бы для меня невыносимо.

– Да, – сказала Марсель.

У нее был не очень убежденный вид.

– Ты, кажется, думаешь иначе.

– Да, – вяло подтвердила она.

– Думаешь, я лгу?

– Нет... но с тобой никогда нельзя быть до конца уверенной. Только знаешь, что я думаю? Что ты себя немного стерилизуешь. Я подумала об этом как раз сегодня. У тебя все так опрятно и чисто; пахнет стиркой, как будто бы тебя пропустили через стерилизатор. Но тебе недостает тени. В тебе не осталось ничего бесполезного, непроященного, смутного. Слишком светло, слишком знойно. И не говори, что ты это делаешь для меня: ты потакаешь собственному пристрастию; у тебя вкус к самоанализу.

Матье был смущен. Марсель часто бывала с ним жестковата; всегда настороже, немного агрессивна, немного недоверчива, и, если Матье с ней не соглашался, она это рассматривала как попытку над ней властвовать. Но сейчас был тот редкий случай, когда она явно хотела позлить его. И потом, эта фотография на кровати... Он с беспокойством разглядывал Марсель: время, когда она решится заговорить, еще не пришло.

– Мне не очень-то интересно себя анализировать, – просто сказал он.

– Верно, – согласилась Марсель, – но это не цель, это средство. Чтобы освободиться от себя самого; смотреть на себя, судить себя – вот твоя любимая повадка. Когда ты на себя смотришь, ты воображаешь, будто ты не то, на что смотришь, будто ты ничто. В глубине души это твой идеал: быть ничем.

– Быть ничем, – медленно повторил Матье. – Нет. Это не то. Послушай, я... я хотел бы зависеть только от себя.

– Да. Быть свободным. Абсолютно свободным. Вот он, твой порок.

– Это не порок, – сказал Матье. – Это... А что ж, по-твоему, надо стремиться к другому?

Он был раздражен: сто раз он объяснял все это Марсель, и она прекрасно знала, что он больше всего дорожит этим.

– Если... если бы я не пытался примерить существование на себе, то оно казалось бы совершенно абсурдным.

Марсель настаивала с насмешливым и упрямым видом:

– Да, да... Не отрицай, это твой порок.

Матье подумал: «Она действует мне на нервы, когда строит из себя этакую бяку». Но тут же опомнился и мягко сказал:

– Это не порок, просто я такой, какой есть.

– Почему же у других все иначе, если это не порок?

– Они такие же, только не отдают себе в этом отчета.

Смех Марсель осекся, в уголках губ появилась жесткая и угрюмая складка.

– А у меня нет желания быть свободной, – сказала она.

Матье посмотрел на ее склоненный затылок и почувствовал себя неловко: когда он был с ней, у него всегда возникали угрызения совести, нелепые, неотвязные угрызения. Он подумал, что никогда не ставил себя на ее место: «Свобода, о которой я ей говорю, – это свобода здорового мужчины». Он положил руку ей на шею и нежно сжал пальцами эту уже приувядшую, тучную плоть.

– Ты чем-то раздосадована?

Она подняла к нему слегка смущенные глаза.

– Нет.

Они замолчали. Удовольствие Матье сосредоточилось в кончиках пальцев. Он медленно провел рукой вдоль ее спины, и Марсель опустила длинные темные ресницы. Он привлек ее к себе: в это мгновение он не желал ее, он скорее хотел почувствовать, что этот строптивый и мятежный дух тает, как сосулька на солнце. Марсель склонила голову на плечо Матье, и он увидел вблизи ее смуглую кожу, голубоватые шершавые подтеки у нее под глазами. Он подумал: «Боже мой! Она стареет». Но тут же поймал себя на мысли, что тоже немолод. Он несколько неуклюже наклонился над ней: ему хотелось забыть и себя, и ее. Но он давно уже не забывался, когда был с ней в постели. Матье поцеловал ее в губы; они у нее были красивые: праведные и строгие. Она тихо откинулась назад и легла на кровать с закрытыми глазами, неуклюжая, осунувшаяся; Матье встал, снял брюки и рубашку, сложил их в изножье кровати, потом лег рядом с Марсель; он видел, что ее глаза были открыты и неподвижны; скрестив руки под головой, она смотрела в потолок.

– Марсель, – позвал он.

Она не ответила; вид у нее был недобрый; затем она резко выпрямилась. Он снова сел на край кровати, смущаясь, чувствуя себя голым.

– Теперь-то, – твердо сказал он, – ты мне скажешь, что случилось.

– Ничего, – вяло отозвалась она.

– Нет, – возразил он с нежностью. – Тебя что-то беспокоит, Марсель! Разве мы не условились говорить друг другу все?

– Здесь ты ничем мне не поможешь. К тому же все это тебя раздосадует.

Он слегка погладил ее по волосам.

– И все же скажи.

– Ну хорошо. Так вот, это случилось.

– Что? Что случилось?

– Это самое.

Матье покривился.

– Ты уверена?

– Абсолютно. Ты же знаешь, я никогда заранее не паникую: задержка уже два месяца.

– Черт! – вырвалось у Матье.

Он подумал: «Она должна была мне об этом сказать по крайней мере три недели назад». Ему захотелось куда-то деть руки: набить трубку, например, но трубка была в кармане пиджака, в шкафу. Он взял с ночного столика сигарету, но тут же положил ее на место.

– Ну вот. Теперь ты все знаешь, – сказала Марсель. – Что будем делать?

– Мы... мы... избавимся, разве нет?

– Хорошо. У меня есть нужный адрес, – сказала Марсель.

– Кто тебе его дал?

– Андре. Она сама там была.

– У той бабки, которая ей в прошлом году все расковыряла? Скажешь тоже: ведь у Андре тогда полгода ушло, чтобы очухаться. Я против.

– Ты что, собираешься стать отцом?

Она высвободилась и села на некотором расстоянии от Матье. Вид у нее был суровый, но не по-мужски. Она положила ладони на бедра, руки ее походили на ручки терракотовой вазы. Матье заметил, что лицо ее посерело. Воздух был розовым и сладковатым, они вдыхали аромат розы, глотали его – и вдруг это серое лицо, этот неподвижный взгляд. Казалось, она с трудом сдерживает кашель.

– Подожди, – сказал Матье, – все так неожиданно: мне надо подумать.

Руки Марсель задрожали; она проговорила с внезапным пылом:

– Я не нуждаюсь в твоих размышлениях; не тебе об этом думать.

Она повернулась и посмотрела на него. Она смотрела на его шею, плечи, живот, потом ее взгляд скользнул ниже.

Вид у нее был удивленный. Матье побагровел и сомкнул ноги.

– Здесь ты ничем мне не поможешь, – повторила Марсель.

И добавила с вымученной иронией:

– Теперь это дело женское.

Губы ее при этих словах сжались: сиренево-алый рот, казалось, пожирающий подобно багряному насекомому ее пепельно-серое лицо. «Она чувствует себя униженной, – подумал Матье, – она меня ненавидит». Он ощутил приступ тошноты. Комната внезапно лишилась розовой дымки; между предметами обозначились огромные пустоты. Матье подумал: «В этом повинен я!» Лампа, зеркало со свинцовыми бликами, каминные часы, кресло, полуоткрытый шкаф вдруг показались ему безжалостными механизмами: их завели, и они владели в пустоте свое хрупкое существование с непреклонным упорством, точно чрево шарманки, непрерывно наигрывающей одну и ту же мелодию. Матье встряхнулся, как бы силясь вырваться из этого мрачного затхлого мирка. Марсель не шевелилась, она продолжала смотреть на низ его живота и на этот виноватый цветок, прикорнувший меж его бедер. Матье знал: ей хочется кричать и биться в рыданиях, но она этого не сделает из страха разбудить мадам Дюффе. Неожиданно он схватил Марсель за талию и привлек к себе. Она припала к его плечу и всхлипнула трижды или четырежды, но без слез. Это все, что она могла себе позволить: безмолвная буря.

Когда Марсель подняла голову, она уже успокоилась и обрела прежнюю рассудительность. Она сказала:

– Извини, мальчуган, но мне нужна была разрядка: с самого утра держусь. Естественно, я тебя ни в чем не упрекаю.

– Однако у тебя есть на это право, – сказал Матье, – мне нечем гордиться. Это в первый раз... Черт возьми, какая мерзость! Я сглупил, а ты расплачиваешься. И вот случилось то, что случилось. Послушай, а что это за бабка, где она живет?

– Улица Морер, 24. Кажется, бабка довольно странная.

– Так я и думал. Ты скажешь ей, что пришла от Андре?

– Да. Бабка берет всего четыреста франков. Знаешь, похоже, это ничтожная сумма, – трезво проговорила Марсель.

– Да. Согласен, – с горечью отозвался Матье, – короче, тебе повезло.

Он чувствовал себя неловко, как жених. Неуклюжий детина, к тому же совершенно голый, принес несчастье, а теперь улыбается, чтобы заставить забыть о себе. Но она не могла забыть о нем: она видела его белые бедра, мускулистые, коротковатые, его самодовольную нагловатую наготу. Какое-то причудливое наваждение. «Будь я на ее месте, мне захотелось бы исколошматить эту мясистую тушу». Он сказал:

– Меня как раз волнует, что она берет слишком мало.

– Ну уж нет, – сказала Марсель. – Это редкостная удача. У меня как раз есть четыре сотни: приготовила их для портнихи, но она может и подождать. И знаешь, – добавила она твердо, – я уверена, что бабка позаботится обо мне не хуже, чем в этих знаменитых подпольных абортариях, где сдирают за милую душу по четыре тысячи франков. Да у нас и нет выбора.

– У нас нет выбора, – повторил Матье. – Когда ты к ней поедешь?

– Завтра, около полуночи. Кажется, она принимает только по ночам. Чудно, да? Думаю, она малость тронутая, но это как раз удобно из-за мамы. Днем она занята в галантерейной лавке; она почти никогда не спит. Входишь через двор, видишь свет под дверью – значит, бабка там.

– Ладно, – сказал Матье, – я пойду туда сам.

Марсель недоуменно посмотрела на него.

– С ума сошел? Она тебя выгонит, она примет тебя за легавого.

– Я все равно пойду, – упрямо повторил Матье.

– Но зачем? Что ты ей скажешь?

– Я хочу убедиться своими глазами, я должен посмотреть, что там такое. Если мне не понравится, ты туда не пойдешь. Я не хочу, чтобы тебя искромсала какая-то полоумная старуха. Скажу, что пришел от Андре, что у меня есть подруга, у которой неприятности, но сейчас у нее грипп, или что-нибудь в этом роде.

– А потом? Куда я пойду, если там не получится?

– У нас есть день-другой, чтоб обернуться. Завтра схожу к Саре, она наверняка кого-то знает. Помнишь, она сначала не хотела иметь детей?

Марсель, казалось, немного расслабилась, она погладила его по затылку.

– Как ты мил, мой мальчик, я не очень хорошо понимаю твои замыслы, вижу только, что ты хочешь что-нибудь для меня сделать; ты, наверное, готов прооперироваться вместо меня?

Она обвила его шею красивыми руками и добавила тоном дурашливого смирения:

– Если ты обратишься к Саре, она точно пошлет тебя к какому-нибудь еврею.

Матье обнял ее, она обмякла.

– Миленький мой, миленький...

– Сними рубашку.

Марсель повиновалась, он опрокинул ее на кровать и стал ласкать ее грудь. Он любил ее крупные припухшие соски. Марсель вздыхала, закрыв глаза, покорная, предощущающая. Веки ее были зажмурены. Матье подумал: «Она беременна». И снова сел. В его голове еще звучала какая-то будоражащая мелодия.

– Послушай, Марсель, сегодня ничего не получится. Мы оба слишком взволнованы. Прости.

Марсель что-то сонно пробурчала, потом резко поднялась и запустила обе руки в волосы.

– Как хочешь, – холодно сказала она.

И более любезно добавила:

– Конечно, ты прав, мы сегодня слишком нервничаем. Я ждала твоих ласк, но боялась, что у тебя ничего не получится.

– Увы! – вздохнул Матье. – Так оно и вышло, и нам больше нечего бояться.

– Знаю, но я этого не хотела. Не знаю уж, как сказать, но ты всегда внушал мне какой-то страхок.

Матье встал.

– Баста. Так я пойду к этой старухе?

– Да. И завтра позвонишь мне.

– А я не смогу тебя завтра увидеть? Так было бы проще.

– Нет, только не завтра вечером. Если хочешь, послезавтра.

Матье надел рубашку и брюки. Поцеловал Марсель в глаза.

– Ты на меня не сердишься?

– Ты ни при чем. Это случилось единственный раз за семь лет, тебе не в чем себя упрекнуть. А я-то тебе не противна?

– Ты с ума сошла.

– Знаешь, я сама себе немного противна, мне сейчас кажется, что я всего лишь огромное вместилище еды.

– Милая малышка, – нежно сказал Матье. – Бедная моя малышка. Не пройдет и недели, как все уладится, я тебе обещаю.

Он бесшумно открыл дверь и выскользнул из комнаты, держа туфли в руках. На площадке он оглянулся: Марсель все еще сидела на кровати. Она улыбалась ему, но Матье казалось, что втайне она на него злится.

Напряжение в глазных яблоках наконец отпустило. Марсель больше на него не смотрела, и ему не приходилось следить за выражением своих глаз. Окутанная темной одеждой и покровом ночи, его повинная плоть чувствовала себя под защитой, мало-помалу она оживала, обретая прежнюю теплоту и невиновность. В голове свербило: масленка, принести послезавтра масленку, как бы ее не забыть? Наконец-то Матье был один.

Он остановился, пронзенный ощущением: неправда, он не один. Марсель его не отпустила, она думает о нем, она думает: «Негодяй, это он сделал, он забылся во мне, словно ребенок, который опростался в простыню». Как бы он ни вышагивал по пустынной улице, темный, почти безымянный, до шеи закутанный в свою одежду, от Марсель ему не убежать. Марсель со своими невеселыми мыслями и стенаниями осталась там, позади, но Матье от нее не ушел: он был там же, в розовой комнате, голый, незащищенный перед этой тяжелой телесностью, еще более невыносимой, чем взгляд. «Единственный раз», – сказал он себе в бешенстве. И вполголоса повторил, чтобы убедить Марсель: «Единственный раз за семь лет!» Марсель не давала себя убедить: она осталась в комнате и думала о Матье. Там, в тишине, она осуждала его и ненавидела. А он не мог защитить себя. Не мог даже прикрыть своих чресел. Для кого еще он существует с такой очевидностью?... Жак и Одетта спят; Даниель если еще не пьян, то уж, наверное, осоловел. Ивиш никогда не думает об отсутствующих. Может быть, Борис... Но сознание Бориса – всего лишь маленькая тусклая вспышка; оно не может бороться против ожесточенной и неподвижной трезвости, которая завораживала Матье на расстоянии. Ночь окутала мраком рассудки: Матье остался с Марсель один на один. Действительно, пара.

В кафе у Камю был свет. Хозяин ставил стулья один на другой; служанка прилаживала деревянный ставень к одной из створок двери. Матье толкнул другую створку и вошел. Ему хотелось, чтобы его видели. Он положил локти на стойку.

– Всем добрый вечер.

Хозяин взглянул на него. Какой-то кондуктор пил перно, надвинув форменную кепку на глаза. Рассудки, приветливые и рассеянные. Кондуктор щелчком отбросил фуражку на затылок и посмотрел на Матье. Рассудок Марсель отпустил его и растворился в ночи.

– Кружку пива.

– Вы редко заходите, – заметил хозяин.

– Но это не потому, что я не хочу пить.

– И правда, хочется пить, – вступил в разговор кондуктор, – можно подумать, что уже разгар лета.

Они замолчали. Хозяин мыл стаканы, кондуктор насвистывал. Матье был доволен, потому что они время от времени смотрели на него. Он видел в зеркале свое лицо, бледное и круглое в серебряном море: у Камю всегда казалось, что сейчас четыре утра из-за света, серебристой дымки, которая туманила глаза и отбеливала лица, руки, мысли. Он подумал: «Она беременна. Чудно: мне кажется, что это неправда». Мысль показалась ему шокирующей и гротескной, как зрелище целующихся в губы старика и старухи: после семи лет такая оплошность не должна была произойти. «Она беременна». В ее чреве находится маленькая стекло-видная масса, которая медленно раздувается, а вскоре будет, как глаз: «Это прорастает среди всякой гадости у нее в животе, это живое». Он увидел длинную шпильку, неуверенно продвигающуюся в полумраке. Слабый звук – и глаз, лопнув, разрывается: остается лишь непроницаемая и сухая оболочка. «Она пойдет к этой бабке, она даст себя искромсать». Он чувствовал себя начиненным ядом. «Все в порядке». Матье встряхнулся: то были бледные мысли, мысли предутренние.

– До свидания.

Он заплатил и вышел.

«Как это было?» Он шел тихо, стараясь вспомнить. «Два месяца тому назад...» Он совершенно ничего не помнил, кажется, это было на второй день пасхальных каникул. Он, как всегда, заключил Марсель в объятия из нежности – конечно, скорее из нежности, чем из желания; и вот теперь... Он остался в дураках. «Ребенок. Я хотел доставить ей удовольствие, а сделал ей ребенка. Я не ведал, что творил. Теперь я отдам четыреста франков этой бабке, она погрузит какой-то инструмент между ног Марсель и примется скоблить; жизнь уйдет, как пришла; а я останусь дураком, как и прежде; разрушая эту жизнь больше, чем создавая ее, я так и не пойму, что наделал». Он отрывисто усмехнулся. «А другие? Те, что всерьез решили стать отцами и ощущают себя дающими жизнь; когда они смотрят на живот своей жены, понимают ли они что-нибудь лучше меня? Они действовали быстро, вслепую орудия половым членом. Остальное происходит в темноте, внутри, в желатине, как в фотоделе. Все происходит без них». Он вошел во двор и увидел свет под дверью: «Это здесь». Его жег стыд.

Матье постучал.

– Кто там? – спросили за дверью.

– Я хотел бы с вами поговорить.

– В такое время к людям не приходят.

– Я от Андре Бенье.

Дверь приоткрылась. Матье увидел прядь желтых волос и внушительный нос.

– Что вам надо? Хотите навести полицию? Не выйдет, я правила соблюдаю. Если мне нравится, имею право у себя дома жечь свет хоть до утра. А коли вы инспектор, так покажите удостоверение.

– Я не из полиции, – сказал Матье. – У меня неприятности. Мне сказали, что я могу обратиться к вам.

– Входите.

Матье вошел. На бабке были мужские брюки и блузка на молнии. Она была очень худа, взгляд пристальный и угрюмый.

– Вы знаете Андре Бенье?

Она глядела на него сердито.

– Да, – ответил Матье. – Она приходила к вам в прошлом году перед Рождеством – у нее были неприятности; ей нездоровилось, и вы потом четырежды приходили ухаживать за ней.



– Ну и что из того?

Матье смотрел на ее руки. Руки мужчины, душителю, потрескавшиеся, в шрамах и царапинах, с коротко стриженными черными ногтями. На первой фаланге большого пальца темнели фиолетовый синяк и толстая черная корка. Матье вздрогнул, вспомнив нежную смуглую плоть Марсель.

– Я пришел не из-за нее, – сказал он. – Я пришел из-за одной ее подруги.

Старуха отрывисто хохотнула.

– Первый раз такого наглого вижу: гарцует тут передо мной. Не нужны мне тут мужики, ясно?

В комнате была грязь, беспорядок. Везде стояли ящики, на плиточном полу разбросана солома. На столе Матье заметил бутылку рома и наполовину опорожненный стакан.

– Я пришел, потому что меня послала моя подруга. Она сама не может сегодня прийти и попросила меня договориться с вами.

В глубине комнаты была приоткрыта дверь. Матье мог поклясться, что за этой дверью кто-то есть. Бабка сказала ему.

– Бедные дурехи, до чего глупые. На вас только поглядеть – сразу видно, что вы из тех, кто приносит несчастье, бьет посуду и стекла. И все-таки эти дурочки отдают вам самое драгоценное. А потом расхлебывают то, что сами и заварили.

Матье оставался корректен.

– Я бы хотел посмотреть, где вы оперируете.

Бабка бросила на него злобный, недоверчивый взгляд.

– Еще чего? Кто вам сказал, будто я оперирую? Что вы мелете? Не суйте нос не в свое дело. Коли ваша подруга хочет меня видеть, пускай приходит. Я хочу иметь дело с ней одной. Вы соображали, что делали. А она, разве она соображала, когда отдавала себя вам в лапы? От вас ей только несчастье. Понятно? Можете мне пожелать, чтобы я оказалась половчее вас, а больше мне нечего сказать. Прощайте.

– До свидания, мадам, – сказал Матье.

Он вышел и сразу почувствовал облегчение. Он медленно направился к Орлеанскому проспекту: в первый раз с тех пор, как он покинул Марсель, он смог думать о ней без волнения, без ужаса, с нежной грустью. «Завтра пойду к Саре», – решил он.

## II

Борис смотрел на красную клетчатую скатерть и размышлял о Матье Деларю. Он думал: «Матье – славный малый». Оркестр умолк, воздух был голубоватым, люди болтали друг с другом. В этом узком маленьком зале Борис знал всех: они были не из тех, кто приходит повеселиться; они притащились сюда после работы, были серьезны и хотели есть. Негр, сидящий против Лолы, – певец из «Парадиза»; шесть парней в глубине зала со своими подружками – музыканты из «Ненетт». Определенно, у них что-то произошло, выпала неожиданная удача, может, ангажемент на лето (позавчера они туманно говорили о кабаре в Константинополе), так как они, всегда такие жмоты, заказали шампанское. Борис заметил также блондинку, выступавшую с матросским танцем в «Ла Ява». Рослый худощавый господин в очках, куривший сигару, – хозяин кабаре на улице Толозе, только что закрытого префектурой полиции. Поговаривали, что кабаре скоро откроют, потому что у хозяина есть поддержка в высших сферах. Борис горько сожалел, что еще не посетил его, и решил обязательно зайти туда, если оно снова откроется. Господин был с субтильным гомосексуалистом, который издали выглядел, пожалуй, привлекательным: узколицый блондин, не слишком жеманный и изящный. Борис отнюдь не жаловал голубых, так как они постоянно охотились за ним, но Ивиш их ценила, она говорила: «Эти хотя бы не боятся быть не как все». Борис был полон пиетета к воззрениям своей сестры и честно пытался гомосексуалистов уважать. Негр ел кислую капусту. Борис подумал: «Не люблю кислой капусты». Ему хотелось узнать, что за блюдо подали танцовщице из «Ла Явы»: что-то коричневое, вкусное на вид. На скатерти было пятно от красного вина. Красивое пятно, казалось, в этом месте скатерть была из атласа. Лола посыпала немного соли на пятно: она была домовита. Соль порозовела. Неправда, будто соль впитывает пятна. Он чуть не сказал Лоле, что соль тут не поможет. Но тогда надо было бы заговорить, а Борис чувствовал, что не может говорить. Лола была рядом с ним, усталая и разгоряченная, а Борис не мог выдавить из себя ни словечка, голос его был мертв. «Вот такой бы я был, если б вдруг онемел». Состояние его было полно неги, голос зарождался в глубине горла, мягкий, как хлопок, но не мог достигнуть губ, он был мертв. Борис подумал: «Я очень люблю Деларю», – и возликовал. Он ликовал бы еще больше, если б не чувствовал всем своим левым боком, от виска до бедер, что Лола на него смотрит. Взгляд был, несомненно, страстный. Лола не могла смотреть на него иначе. Ему было немного тягостно, ибо страстные взгляды требовали в ответ любезных жестов или хотя бы улыбки. А Борис сейчас был на это не способен. Он чувствовал себя парализованным. Ему не нужно было видеть взгляд Лолы: он его угадывал, но в конце концов это никого не касается. Он сидел так, что вполне можно было предположить, что она смотрит в зал, на посетителей. Борису не хотелось спать, он был скорее оживлен, так как знал в зале всех; он увидел розовый язык негра; Борис испытывал уважение к этому негру: однажды тот разулся, взял пальцами ноги спичечный коробок, извлек оттуда спичку, зажег ее, и все это ногами. «Потрясающий парень, – восхищенно подумал Борис. – Хорошо, если бы все умели пользоваться ногами, как руками». Его левый бок побаливал от того, что на него смотрели: он знал, что приближается момент, когда Лола спросит: «О чем ты думаешь?» Было совершенно невозможно отсрочить этот вопрос, от него это не зависело: Лола его задаст с фатальной неизбежностью. У Бориса было впечатление, что он наслаждается совсем крохотным отрезком времени, бесконечно драгоценным. В сущности, это было приятно: Борис видел скатерть, видел бокал Лолы (она никогда не ужинала перед выступлением). Лола выпила «Шато Грю», она очень за собой следила и лишала себя множества маленьких удовольствий, потому что отчаянно боялась постареть. В стакане осталось немного вина, оно было похоже на запыленную кровь. Джаз заиграл «If the

moon turns green»<sup>1</sup>, и Борис подумал: «Смог бы я напеть эту мелодию?» Хорошо было бы при свете луны прогуляться по улице Пигаль, насвистывая какой-нибудь мотивчик. Деларю ему однажды сказал: «Вы свистите, как поросенок». Борис про себя рассмеялся и подумал: «Вот олух!» Его переполняла симпатия к Матье. Не поворачивая головы, он бросил короткий взгляд в сторону и столкнулся с тяжелым взглядом Лолы из-под пышной рыжей челки. В сущности, ее взгляд вполне можно перенести. Достаточно привыкнуть к тому особому жару, который воспламеняет лицо, когда чувствуешь, что на тебя кто-то страстно смотрит. Борис послушно отдавал взглядам Лолы свое тело, свой худой затылок, свой нетвердый профиль, который она так любила; только такой ценой он мог спрятаться в себя и основательно заниматься собственными приятными мыслишками.

– О чем ты думаешь? – спросила Лола.

– Ни о чем.

– Но ведь всегда думают о чем-то.

– А я думал ни о чем.

– Даже не о том, что тебе нравится эта мелодия и ты хотел бы научиться чечетке?

– Да, что-то в этом роде.

– Вот видишь. Почему же ты мне этого не сказал? Я же хочу знать все, о чем ты думаешь.

– Об этом не говорят. Это не имеет значения.

– Не имеет значения! Можно подумать, что язык тебе дан только для того, чтобы рассуждать о философии с твоим профессором.

Он посмотрел на нее и улыбнулся: «Я ее люблю потому, что она рыжая и немолодо выглядит».

– Странный ты мальчик, – сказала Лола.

Борис моргнул и умоляюще взглянул на нее. Он не любил, когда с ним говорили о нем: ему было неловко, он терялся. Лола казалась рассерженной, но это потому, что она страстно его любила и терзалась из-за него. Были минуты, когда это было сильнее ее, она без причины тревожилась, растерянна на него смотрела, не знала, как себя держать, и только руки ее двигались от волнения. Сначала Борис удивлялся, но со временем привык. Лола положила ладонь ему на голову.

– Я все думаю: что там внутри? – проговорила она. – Это меня пугает.

– Почему? Клянусь, мысли мои вполне безобидны, – смеясь, возразил Борис.

– Да, но... это приходит само собой, я ни при чем, каждая из твоих мыслей – это маленькое бегство от меня.

Она взъерошила ему волосы.

– Не поднимай мне чуб, – сказал Борис, – не люблю, когда мне открывают лоб.

Он взял ее руку, слегка погладил и отпустил.

– Ты здесь, ты ласков, – сказала Лола, – кажется, что тебе хорошо со мной, а потом вдруг – никого, и я не пойму: куда ты подевался?

– Но я здесь.

Лола смотрела на него с близкого расстояния. На ее бледном лице было написано грустное великодушие, именно такой вид она принимала, когда пела шлягер «Люди с содранной кожей». Она выпячивала губы, огромные губы с опущенными уголками, которые он так поначалу любил. С тех пор как он почувствовал их на своих губах, они поражали его влажной и лихорадочной обнаженностью на этой прекрасной гипсовой маске. Теперь он предпочитал ее кожу – такую белую, точно ненастоящую. Лола робко спросила:

– Ты... ты не скучаешь со мной?

– Я никогда не скучаю.

---

<sup>1</sup> «Если луна позеленеет» (англ.). – Здесь и далее примеч. пер.

Лола вздохнула, и Борис с удовлетворением подумал: «Занятно, что у нее такой немолодой вид, она никогда не говорит, сколько ей лет, но наверняка около сорока». Ему нравилось, что люди, которые были привязаны к нему, выглядели немолодо, это внушало к ним доверие. Более того, это придавало им некоторую немного пугающую хрупкость, которая при первом приближении не подтверждалась, потому что кожа у них была дубленая, как выделанная. Ему захотелось поцеловать взволнованное лицо Лолы, он подумал, что она изнурена, что жизнь ее не удалась и что она одинока, быть может, еще более одинока с тех пор, как полюбила его: «Я ничего не могу для нее сделать», – безнадежно подумал он. В этот момент она казалась ему невероятно симпатичной.

– Мне стыдно, – сказала Лола.

У нее был тяжелый, мрачноватый голос, наводивший на мысли о красном бархате.

– Почему?

– Потому что ты еще ребенок.

Он сказал:

– Обожаю, когда ты говоришь: ребенок. Ты так красиво выделяешь эту ударную гласную. В «Людах с содранной кожей» ты дважды произносишь это слово, и только поэтому я пришел бы тебя послушать. Сегодня много народу.

– Лавочники. Приходят неведомо откуда, без умолку чешут языки. Им так же хочется меня слушать, как повеситься. Сарриньян вынужден был попросить их вести себя потише; я была смущена, мне это показалось бестактным, ведь когда я вышла, они мне аплодировали.

– Просто так положено.

– Мне все это осточертело, – сказала Лола, – противно петь для этих кретинов. Они приперлись, чтобы ответить приглашением на приглашение другой семейной пары. Если б ты видел, как они расплываются в улыбках, как держат стул своей супруги, пока она садится. Естественно, ты им мешаешь, когда выходишь, и они смотрят на тебя пренебрежительно. Борис, – неожиданно сказала Лола, – я пою, чтобы существовать.

– Да, я знаю.

– Если бы я предвидела, что все кончится так, я никогда бы не начинала.

– Но ведь когда ты пела в мюзик-холле, ты тоже жила своим пением.

– То было совсем другое.

Наступило молчание, потом Лола без всякой связи добавила:

– А с тем пареньком, который поет после меня, с новеньким, я говорила сегодня вечером. Он довольно мил, но он такой же русский, как я.

«Она считает, что наводит на меня скуку», – подумал Борис. Он решил при удобном случае еще раз сказать ей, что никогда не скупает. Но не сегодня, позже.

– Может, он выучил русский?

– Но ты-то, – сказала Лола, – ты-то можешь понять, хорошее у него произношение или нет.

– Мои родители уехали из России в семнадцатом году, мне было три месяца.

– Забавно, что ты не знаешь русского, – заключила Лола с мечтательным видом.

«Она чудная, – подумал Борис, – ей совестно любить меня, потому что она старше. А по-моему, это естественно, все равно нужно, чтоб один был старше другого». К тому же это более нравственно: Борис не смог бы любить ровесницу. Если оба молоды, они не умеют себя вести и действуют суматошно, создается впечатление, что они играют в детский обед. Со зрелыми людьми все по-другому. Они солидны, они управляют партнером, и их любовь весома. Связь с Лолой казалась Борису естественной и оправданной. Конечно, он предпочитал общество Матье, потому что Матье не был женщиной: мужчина всегда интересней. И потом Матье разобъяснял ему разные разности. Но Борис часто сомневался: а испытывает ли Матье к нему дружбу? Матье был безразличен и грубоват; конечно, мужчинам между собой не пристало

нежничать, но есть тысяча других способов показать, что дорожишь кем-то, и Борис считал, что Матье мог бы время от времени каким-то словом или поступком обнаружить свою привязанность. С Ивиш Матье был совсем другим. Однажды Борис увидел лицо Матье, когда тот подавал пальто Ивиш, и почувствовал неприятный укол в сердце. Улыбка Матье на его горестных губах, которые Борис так любил, была странной, стыдливой и нежной. Впрочем, вскоре голова Бориса наполнилась туманом, и он больше ни о чем не думал.

– Вот он и снова ушел, – сказала Лола.

Она взволнованно посмотрела на него.

– О чем ты сейчас думаешь?

– О Деларю, – с сожалением сказал Борис.

Лола грустно улыбнулась.

– А ты не мог бы иногда думать и обо мне?

– О тебе не нужно думать, ведь ты рядом.

– Почему ты всегда думаешь о Деларю? Ты хотел бы быть с ним?

– Я рад, что сейчас здесь.

– Ты рад, что здесь или что со мной?

– Это одно и то же.

– Для тебя – одно и то же. Но не для меня. Когда я с тобой, мне плевать, здесь я или где-то в другом месте. И все же я никогда не радуюсь, что я с тобой.

– Вот как? – спросил Борис удивленно.

– Радость моя неполная. И не нужно изображать непонимание, ты отлично все понимаешь: я видела тебя с Деларю, ты сам не свой, когда он рядом.

– Это не одно и то же.

Лола приблизила к нему красивое опустошенное лицо: вид у нее был умоляющий.

– Ну посмотри же на меня, рожица, почему ты так им дорожишь?

– Не знаю. Я не так уж им и дорожу. Он славный малый. Лола, мне неловко с тобой о нем разговаривать, ведь ты сказала, что не переносишь его.

Лола вымученно улыбнулась.

– Посмотрите, как изворачивается. Но послушай, моя куколка, я никогда тебе не говорила, что не переношу его. Просто я никогда не понимала, что ты в нем находишь. Объясни, я просто хочу понять.

Борис подумал: «Это неправда, я не скажу и трех слов, как она начнет задыхаться от ярости».

– Он кажется мне симпатичным, – сказал он осторожно.

– Ты всегда так говоришь. Я бы выбрала какое-нибудь другое слово. Скажи, что он умен, образован, я соглашусь, но только не симпатичен. В конце концов я тебе говорю о своем впечатлении; для меня симпатичный человек – кто-то вроде Мориса, кто-то округлый, милый. А с этим не знаешь, как себя вести, потому что он ни рыба ни мясо. Он морочит голову окружающим. Да ты на руки его посмотри.

– А что его руки? Мне они нравятся.

– Большие, как у рабочего. Они постоянно подрагивают, как будто он только что занимался физической работой.

– Да, верно.

– А! Вот именно, но он не рабочий. Когда я вижу, как он с грубым самодовольством хватается своей большой лапой стакан с виски, я его вовсе не ненавижу, только посмотри потом, как он пьет, посмотри на его странные губы, губы протестантского пастора. Не могу объяснить, но, по-моему, твой Матье слишком замкнут, и потом, взгляни в его глаза; да, он образован, но этот парень ничего не любит просто, ни пить, ни есть, ни спать с женщинами; ему необходимо над всем размышлять; и наконец, его голос, резкий голос господина, который никогда не оши-

бается, я знаю, что его профессия требует этого, когда он что-то объясняет ученикам, у меня был учитель, который говорил, как он, но я уже не школьница, все во мне восстает; я понимаю так, должно быть что-то одно – либо грубиян, либо человек изысканный, учитель, пастор, но ведь не то и другое сразу. Не знаю, есть ли женщины, которым это нравится. Наверное, есть, но скажу тебе откровенно, мне было бы противно, если б такой тип ко мне прикоснулся, я не хотела бы чувствовать на себе лапы забияки в сочетании с ледяным взглядом.

Лола перевела дыхание. «Что она ему приписывает?» – подумал Борис. Ее тирада его не слишком задела. Любящие его люди не были обязаны так же любить друг друга, и Борис считал вполне естественным, что каждый из них пытался отвлечь его от другого.

– Я тебя очень хорошо понимаю, – примирительным тоном продолжала Лола, – ты не видишь его моими глазами, потому что он был твоим учителем и ты пристрастен; а я вижу массу штришков; вот ты, к примеру, очень требователен к тому, как люди одеваются, ты их постоянно осуждаешь за недостаток элегантности, а между тем он всегда одет скверно, ни дать ни взять пугало огородное, он носит галстуки, которые ни за что не надел бы слуга из моей гостиницы, а тебе это безразлично.

Бориса охватило какое-то оцепенение, но он спокойно пояснил ей:

– Не важно, что ты плохо одет, если ты равнодушен к тряпкам. Противно, когда пытаются одеждой всех поразить и попадают впросак.

– Ты-то уж не попадешь впросак, моя маленькая шлюшка, – сказала Лола.

– Просто я знаю, что мне идет, – скромно отпарировал Борис.

Он вспомнил, что на нем сейчас голубой свитер крупной вязки, и удовлетворенно подумал: отличный свитер. Лола взяла его руку и принялась подбрасывать меж своих рук. Борис посмотрел на свою руку, которая взлетала и снова падала, и подумал: она не моя, ее можно принять за блинчик. Он ее больше не чувствовал; это его забавляло, и он пошевелил пальцем, чтобы оживить ее. Палец дотронулся до большого пальца Лолы, и она благодарно взглянула на Бориса. «Вот что меня стесняет», – с раздражением подумал Борис. Он сказал себе, что ему, безусловно, было бы легче проявлять нежность, если б Лола не выглядела временами столь покорной и растроганной. То, что он позволял стареющей женщине на людях тереть себе руку, его совсем не смущало. Он давно уже понял, что создан для подобных штук: даже когда он был один, например, в метро, люди вызывающе поглядывали на него, а девчонки, выходя из мастерской, нахально фыркали ему в лицо.

Лола принялась за свое:

– И все же ты мне не сказал, что ты в нем находишь.

Такой уж она была, начав, она уже не могла вовремя остановиться. Борис был уверен: она причиняет себе боль, но чувствовалось, что в глубине души ей это нравится. Он посмотрел на Лолу: воздух вокруг нее был голубым, и ее лицо было голубовато-белым. Но глаза оставались жесткими и лихорадочными.

– Ну скажи, что именно?

– Да все! О-о! – простонал Борис. – Как ты мне надоела... Ну, хотя бы то, что он ничем не дорожит.

– А разве это хорошо – ничем не дорожить? Ты тоже ничем не дорожишь?

– Ничем.

– И все-таки мной ты немножечко дорожишь?

– Ах да, тобой я дорожу.

У Лолы был разнесчастный вид, и Борис отвернулся. Все же он не любил видеть на ее лице такое выражение. Она терзала себя, он считал это глупым, но помешать этому не мог. Он делал все, что от него зависело. Он не изменял Лоле, часто звонил ей, три раза в неделю ходил встречать ее к «Суматре», и в эти вечера он спал с ней. Возможно, виноват был ее характер. Или возраст: старики – порядочные эгоисты, можно подумать, что на карту поставлена их жизнь.

Однажды, когда Борис был ребенком, он уронил ложку, ему велели поднять ее, а он отказался, заупрямился. Тогда отец сказал ему незабываемо величавым тоном: «Пусть так, я подниму ее сам». Борис увидел лысую голову, огромное, неловко нагибающееся тело, услышал хруст суставов, то было нестерпимое святотатство: он разрыдался. С тех пор Борис считал взрослых полубогами, массивными и немощными. Если они наклонялись, создавалось впечатление, что они вот-вот развалятся, если они спотыкались или падали, то душило желание расхохотаться и одновременно охватывал священный трепет. Если у них на глазах слезы, как сейчас у Лолы, то не знаешь, куда деваться. Слезы взрослых – это мистическая катастрофа, нечто вроде пеней, которые Бог изливает на порочное человечество. Но, с другой стороны, Борис одобрял страстность своей подруги. Матье ему объяснил, что нужно иметь страсти, да и Декарт утверждал то же самое.

– У Деларю есть страсти, – сказал Борис, продолжая свою мысль вслух, – но он все равно не привязан ни к чему. Он свободен.

– В этом смысле я тоже свободна, я привязана только к тебе.

Борис не ответил.

– А что, по-твоему, я не свободна? – спросила Лола.

– Это не одно и то же.

Слишком трудно объяснить. При всей своей трогательности Лола была типичной жертвой, ей во всем не везло. К тому же она употребляла героин. В каком-то смысле это было даже хорошо, в принципе совсем хорошо; Борис обсуждал это с Ивиш, и оба пришли к выводу, что это хорошо. Ведь есть разница, принимают ли наркотики от отчаяния, чтобы разрушить себя, или ради того, чтобы утвердить свою свободу, – тогда это заслуживает только похвалы. Но Лола употребляла их с самозабвением лакомки, это был ее способ разрядки. Однако она не бывала даже одурманена.

– Это просто смешно, – сухо сказала Лола. – Ты ставишь Деларю выше всех остальных из чистого принципа. На самом деле ты преотлично знаешь, кто больше свободен от себя, я или он: он живет в домашней обстановке, у него оклад, пенсия обеспечена, он живет как мелкий чиновник. И сверх всего у него связь с этой женщиной, которая никогда не выходит из дому. Полный набор. У меня же только мое рубище, я одинока, живу в гостинице, даже не знаю, будет ли у меня ангажемент на лето.

– Это не одно и то же, – повторил Борис.

Он злился. Лоле плевать на свободу. Сегодня вечером она закусила удила, желая одолеть Матье на его бесспорной территории.

– О, я б тебя убила, когда ты такой! Что, что не одно и то же?

– Ты свободна, не желая этого, – объяснил он, – просто так получилось, вот и все. В то время как Матье свободен сознательно.

– Все равно не понимаю, – сказала Лола, качая головой.

– Начнем с его квартиры, он плюет на нее, точно так же он бы жил в любом другом месте. Думаю, он плюет и на свою женщину. Он с ней, потому что надо же с кем-то спать. Его свобода не наглядна, она внутри.

У Лолы был отсутствующий вид, Бориса охватило желание причинить ей боль, и, чтобы уязвить ее, он добавил:

– Ты слишком дорожишь мной; он никогда не попал бы в подобную западню.

– Вот как! – оскорбленно воскликнула Лола. – Я слишком дорожу тобой, свиненок! А ты не думаешь, что он слишком дорожит твоей сестрой? Стоило только посмотреть на него тем вечером в «Суматре»!

– Ивиш? – спросил Борис. – Ты нанесла мне удар в самое сердце.

Лола ухмыльнулась, туман вдруг наполнил голову Бориса. Через некоторое время он услышал, что джаз играет «St. James's Infirmary»<sup>2</sup>, и ему захотелось танцевать.

– Потанцуем.

Они пошли танцевать. Лола закрыла глаза, и он услышал ее прерывистое дыхание. Маленький гомосексуалист из-за стола встал и направился приглашать танцовщицу из «Ла Явы». Борис подумал, что увидит его вблизи, и обрадовался. Лола погрузнела в его объятиях, она хорошо танцевала и приятно пахла, но была очень тяжелой. Борис отметил про себя, что больше любит танцевать с Ивиш. Ивиш танцевала потрясающе. Он подумал: «Ивиш должна научиться чечетке». Потом все мысли исчезли – его дурманил запах Лолы. Он прижал ее к себе и глубоко вдохнул. Лола открыла глаза и внимательно на него посмотрела.

– Ты меня любишь?

– Да, – сказал Борис, слегка поморщившись.

– Почему ты морщишься?

– Потому. Ты меня утомила.

– Почему? Разве ты меня не любишь?

– Люблю.

– Почему ты никогда не говоришь мне этого сам? Всегда приходится из тебя вытягивать.

– Потому что у меня нет такой потребности. Я считаю, что об этом вообще болтать не следует.

– Тебе не нравится, когда я тебе говорю, что люблю тебя?

– Нравится, можешь говорить, если тебе так хочется, но не спрашивай о моих чувствах.

– Я так редко тебя о чем-то спрашиваю, мой мальчик. Обычно мне достаточно смотреть на тебя и ощущать твою любовь, но бывают минуты, когда мне хочется прикоснуться к твоей любви.

– Понимаю, – серьезно сказал Борис, – но ты должна ждать, когда и у меня возникнет такое желание. Если оно не приходит само собой, все это не имеет смысла.

– Но, мой глупыш, ты же сам сказал, что у тебя не возникает желания, пока тебя ни о чем не спрашивают.

Борис засмеялся.

– Действительно, – сказал он, – ты меня поймала. Но, знаешь, можно питать нежные чувства к кому-то и не иметь потребности об этом говорить.

Лола не ответила. Они остановились, заплодировали, и музыка заиграла снова. Борис с удовлетворением заметил, что во время танца маленький гомосексуалист приблизился к ним. Но, разглядев его вблизи, Борис поразился: малому было под сорок. На лице у него сохранился глянец молодости, но с изнанки он постарел. У него были большие голубые кукольные глаза и по-детски нежные губы, но под фаянсовыми глазами были мешки, вокруг рта складки, ноздри сжаты, как будто он вот-вот испустит дух, к тому же волосы, издавна напоминавшие золотистую дымку, едва скрывали череп. Борис с ужасом посмотрел на этого старого безбородого ребенка: «А ведь когда-то он был молодым», – подумал он. Есть тип людей, созданных выглядеть на тридцать пять, к примеру, Матье, у них не было молодости. Но, когда человек раньше был действительно молодым, он сохраняет черты молодости на всю жизнь. А вообще это сходит только до двадцати пяти. Потом же нет, и это ужасно. Он взглянул на Лолу и поспешно сказал ей:

– Посмотри на меня. Я люблю тебя.

Глаза у Лолы покраснели, она наступила Борису на ногу и прошептала:

– Милый мой мальчик.

---

<sup>2</sup> «Лазарет Святого Джеймса» (англ.).



Ему захотелось крикнуть: «Обними же меня крепче, заставь меня почувствовать, что я люблю тебя!» Но Лола молчала, она, в свою очередь, погрузилась в себя, тоже нашла время! Туманно улыбаясь, она опустила веки, ее лицо сосредоточилось на собственном счастье. Лицо спокойное и пустынное. Борис почувствовал себя покинутым, и мысль, отвратительная мысль внезапно завладела им: не хочу, не хочу стареть. В прошлом году он был совсем спокоен, он никогда не думал о подобном, а теперь в этом было что-то зловещее, он чувствовал, что молодость все время течет у него меж пальцев. «До двадцати пяти. У меня еще пять лет, – подумал Борис, – а потом я пушу себе пулю в лоб». Ему стало невыносимо слушать эту музыку, ощущать вокруг себя людей. Он сказал:

– Уйдем.

– Сейчас, мое маленькое чудо.

Они вернулись к столику. Лола подозвала официанта, заплатила, набросила на плечи бархатную накидку.

– Пошли! – сказала она.

Они вышли. Борис больше не думал ни о чем серьезном, но был мрачен. На улице Бланш было полно людей, людей суровых и старых. Они встретили маэстро Пиранезе из «Кота в сапогах» и поздоровались с ним: его маленькие ножки подпрыгивали под внушительным животом. «Может, и у меня будет такое брюхо». И тогда – избегать зеркал, ощущать свои ломкие и резкие движения, как будто члены сделаны из хвороста... Каждый уходящий миг, каждое малое мгновение исподволь изнашивали его молодость. «Если бы я как-то смог себя экономить, жить потихоньку, жить не торопясь, может, я выиграл бы несколько лет. Но для этого не следует ежедневно ложиться в два часа ночи». Он с ненавистью посмотрел на Лолу: «Она меня убивает».

– Что с тобой? – спросила Лола.

– Ничего.

Лола жила в гостинице на улице Наворен. Она сняла ключ с гвоздя, и они молча поднялись. Комната была голой, в углу стоял чемодан, обклеенный этикетками, на стене – приколотая кнопками фотография Бориса. Увеличенная Лолой фотография на удостоверение личности. «Она останется прежней, – подумал Борис, – когда я превращусь в старую развалину, на ней я останусь молодым». Ему захотелось разорвать фотографию.

– Ты грустный, – сказала Лола, – что случилось?

– Подыхаю, – буркнул Борис, – башка трещит.

Лола заволновалась.

– Ты не заболел, мой дорогой? Хочешь таблетку?

– Нет, пройдет и так, уже отпускает.

Лола взяла его за подбородок и приподняла ему голову.

– У тебя такой вид, будто ты на меня злишься. Ты на меня злишься? Да! Ты злишься! Что я сделала?

Она была в смятении.

– Я не злюсь на тебя, ты с ума сошла, – вяло запротестовал Борис.

– Нет, ты злишься. Но что я сделала? Ты бы лучше мне сказал, чтоб я могла оправдаться. Это, конечно, недоразумение. Все можно исправить. Борис, умоляю, скажи, что случилось?

– Ничего.

Он обвил руками ее шею и поцеловал в губы. Лола вздрогнула. Борис вбирал ее душистое дыхание и чувствовал у своих губ влажную наготу. Он был взволнован. Лола прикрыла поцелуями его лицо; она слегка задыхалась.

Борис почувствовал, что желает Лолу, и был этим удовлетворен: желание откачивало его мрачные, как, впрочем, и все другие мысли. В голове пронеслось нечто вроде водоворота, и она мигом опустошилась. Он положил руку на бедро Лолы и через шелк платья коснулся ее

плоти. Он немного сжал пальцы, ткань скользнула под ними, как тонкая кожица, ласкающая и мертвая; под ней сопротивлялась настоящая кожа, эластичная, глянцеви́тая, как лайковая перчатка. Лола швырнула свою накидку на кровать, ее голые руки, взметнувшись, обвились вокруг его шеи; от Лолы хорошо пахло. Борис видел ее выбритые подмышки в крошечных жестких голубовато-черных точечках: они были похожи на головки глубоких заноз. Борис и Лола стояли на том же месте, где их охватило желание, у них не было сил сдвинуться. Лола задрожала, и Борису показалось, что они сейчас медленно опустятся на ковер. Он прижал Лолу к себе и почувствовал нежную плотность ее груди.

– Ах! – выдохнула Лола.

Она откинулась назад, и он был зачарован этим бледным лицом с припухшими губами, ее головой Медузы. Он подумал: «Это ее последние прекрасные дни». Борис прижал ее к себе сильнее. «В одно печальное утро она в одночасье разрушится». Он больше ее не ненавидел; прижавшись к ней, он ощущал себя крепким и худым, состоящим из одних мышц, он обволакивал ее руками и защищал от старости. Затем наступила секунда помутнения и беспамятства: он посмотрел на руки Лолы, белые, как волосы старухи, и ему подумалось, что он в своих объятиях держит старость и что нужно сжимать ее изо всех сил, пока не задушишь.

– Как ты меня крепко обнимаешь, – счастливо простонала Лола, – мне больно. Я хочу тебя.

Борис высвободился; он был немного скандализован.

– Дай мне мою пижаму, я пойду разденусь.

Он вошел в туалетную комнату и запер дверь на ключ: ему не нравилось, что Лола входила туда, когда он раздевался. Борис помыл лицо и ноги и развлекался, посыпая бедра и икры тальком. Он совсем успокоился и подумал: «Забавно». У него была мутная и тяжелая голова, он определенно больше не знал, о чем думать. «Нужно будет обсудить это с Деларю», – заключил он. По ту сторону двери его ждала Лола, она, несомненно, была уже голой. Но ему не хотелось торопиться. Голое тело, полное голых запахов, нечто волнующее, это то, чего Лоле не дано было понять. Сейчас ему предстоит погрузиться на дно тяжелой, пахучей чувственности. Когда он уже внутри, все идет хорошо, но перед этим никак не избежать легкого беспокойства. «Во всяком случае, – подумал он с раздражением, – я не хочу упасть в обморок, как в прошлый раз». Он старательно причесался над умывальником, чтобы проверить, не выпадают ли у него волосы. Но белый фаянс был чист: ни одной волосинки. Надев пижаму, он открыл дверь и вошел в комнату.

Обнаженная Лола лежала на постели. Это была другая Лола, ленивая и опасная, она следила за ним сквозь ресницы. Ее тело на голубом стеганом одеяле было серебристо-белым, как брюшко рыбы, с рыжим треугольным пучком волос внизу живота. Борис подошел к кровати и стал рассматривать Лолу, испытывая одновременно волнение и отвращение: она протянула к нему руки.

– Подожди, – сказал Борис.

Он нажал на выключатель, и свет погас. Комната стала совсем красной: на доме напротив, на четвертом этаже, недавно установили светящуюся рекламу. Борис лег рядом с Лолой и начал ласкать ее плечи и грудь. У нее была такая нежная кожа, что казалось, будто она так и не сняла шелкового платья. Ее грудь была немного дряблой, но Борису это нравилось: грудь пожилой женщины. Напрасно он потушил свет, из-за этой проклятой рекламы он все равно видел лицо Лолы, бледное в красном отсвете, ее черные губы: она казалась страдающей, глаза ее были суровыми. Борис почувствовал в себе зловещую тяжесть, совсем как тогда в Ниме, когда первый бык выпрыгнул на арену: что-то должно было сейчас произойти, что-то неизбежное, ужасное и пошлое, как кровавая гибель быка.

– Сними пижаму, – умоляюще прошептала Лола.

– Нет, – отрезал Борис.

Это был почти ритуал: каждый раз Лола просила его снять пижаму, а он отказывался. Руки Лолы скользнули под куртку и стали нежно ласкать его. Борис засмеялся.

– Ты меня щекочешь.

Они поцеловались. Вскоре Лола взяла руку Бориса и прижала ее к своему животу, к пучку рыжих волос: у нее всегда были странные запросы, и Борис иногда вынужден был сопротивляться. Несколько мгновений его рука покоилась на бедрах Лолы, потом он медленно поднял ее до ее плеч.

– Иди, – сказала Лола, притягивая его на себя, – я обожаю тебя, иди! Иди!

Она сразу застонала, и Борис подумал: «Сейчас мне станет дурно!» Мутная волна поднималась от ягодиц к затылку. «Я не хочу», – сказал себе Борис, стискивая зубы. Но вдруг ему показалось, будто его поднимают за загривок, как кролика, он опрокинулся на тело Лолы, и больше не было ничего, кроме багрового сладострастного кружения.

– Дорогой мой, – сказала Лола.

Она ласково отодвинула его в сторону и вылезла из постели. Борис лежал подавленный, уткнувшись в подушку. Он услышал, как Лола открывает дверь туалетной комнаты, и подумал: «Когда между нами все будет кончено, я буду хранить целомудрие. Не хочу больше неприятностей. Мне противна близость с женщиной. А если быть точным, мне не столько противно, сколько я боюсь впасть в беспамятство. Уже сам не знаешь, что делаешь, чувствуешь себя подчиненным, и потом, какой смысл выбирать себе любовницу, со всеми будет одно и то же. Это просто физиология». Он повторил с отвращением: «Физиология!» Лола мылась на ночь. Шум воды был приятным и невинным, Борис слушал его с удовольствием. Люди, галлюцинирующие в пустыне от жажды, слышат подобный шум, шум источника. Борис представил себе, что он галлюцинирует. Комната, красный свет, плеск – это галлюцинации, сейчас он очутится среди пустыни, лежа на песке, с пробковым шлемом на голове. Внезапно ему вспомнилось лицо Матье. «Занятно, – подумал он. – Мужчин я люблю больше, чем женщин. С женщиной я и на четверть не так счастлив, как с мужчиной. Однако ни за что на свете я не хотел бы спать с женщиной». Он обрадованно решил: «Монахом – вот кем я буду, когда брошу Лолу!» Он почувствовал себя сухим и чистым. Лола прыгнула на кровать и обняла его.

– Маленький мой! – повторяла она. – Маленький мой!

Она гладила его по волосам, наступило долгое молчание. Борис уже видел вращающиеся звезды, когда Лола заговорила. Ее голос звучал странно в этой алой ночи.

– Борис, у меня нет никого, кроме тебя, я одна на целом свете, люби меня, я могу думать только о тебе. Когда я думаю о своей жизни, мне хочется утопиться, мне нужно думать о тебе весь день. Не будь подлецом, любовь моя, не делай мне больно, ты все, что у меня осталось. Я в твоих руках, любовь моя, не делай мне больно, никогда не делай мне больно, я совсем одна!

Борис внезапно пробудился, теперь он все ясно осознавал.

– Если ты и одна, так это оттого, что тебе так нравится, – спокойно сказал он, – а все потому, что ты гордячка. А иначе ты полюбила бы мужчину старше себя. Я же слишком молод, я не могу помешать твоему одиночеству. Скорее всего потому-то ты меня и выбрала.

– Не знаю, – сказала Лола, – я страстно люблю тебя, больше я ничего не знаю.

Она жадно обняла его. Борис еще слышал, как она говорит: «Я обожаю тебя», – но потом уснул окончательно.

### III

Лето. Воздух густой и теплый; Матье идет по мостовой, под ясным небом, его руки загребают, как бы отстраняя тяжелые золотые драпировки. Лето. Лето других. Для него же начинается черный день, который будет, извиваясь, тянуться до вечера, сплошные похороны под солнцем. Адрес. Деньги. Ему предстоит обегать весь Париж. Адрес дает Сара. Деньги одолжит Даниель. Или Жак. Матье воображал, что он убийца, и отблеск этой фантазии оставался в глубине его глаз, ошалевших под ослепительным напором света. Улица Делаамбр, 16 – это здесь. Сара жила на седьмом этаже, и лифт, естественно, не работал. Матье поднялся пешком. За закрытыми дверями женщины занимались домашней работой, в фартуках, с полотенцами, обвязанными вокруг головы; для них тоже начинался день. Каким он будет? Матье немного запыхался, поднимаясь; перед тем, как позвонить, он подумал: «Нужно бы делать зарядку». А потом: «Я это говорю себе каждый раз, когда поднимаюсь по лестнице». Он услышал мелкие шажки; лысый светлоглазый человек, улыбаясь, открыл ему дверь. Матье сразу узнал его; это был немец, эмигрант; он часто видел в кафе на Домской набережной, как тот смакует кофе со сливками или сидит, склонившись над шахматной доской, не сводя глаз с фигур, облизывая толстые губы.

– Я хотел бы видеть Сару, – сказал Матье.

Человечек стал серьезным, поклонился, щелкнул каблуками; уши у него были фиолетовые.

– Веймюллер, – с готовностью представился он.

– Деларю, – равнодушно отозвался Матье.

Человечек снова приветливо улыбнулся.

– Заходите, заходите, – сказал он. – Сара внизу, в мастерской, она будет так рада.

Он впустил его в прихожую и, семена, исчез. Матье толкнул застекленную дверь и вошел в мастерскую Гомеса. На площадке внутренней лестницы он остановился, ослепленный светом, прорывающимся сквозь большие пыльные витражи. Матье заморгал, заболела голова.

– Кто там? – донесся голос Сары.

Матье склонился через перила. Сара сидела на диване в желтом кимоно, Матье видел кожу головы сквозь редкие прямые волосы. Напротив нее как бы пылал факел: рыжая голова брахицефала... «Это Брюне», – подумал Матье с досадой. Он не видел его уже полгода, но не испытывал ни малейшего желания встретить его у Сары: это было неудобно, им нужно было многое друг другу сказать, их связывала старинная затухающая дружба. И потом, Брюне приносил с собой слишком много воздуха извне, целый мир, привыкший к физическому труду, непрерывным усилиям, строгой дисциплине и все же склонный к насилию и бунту: ему вовсе не следовало слышать постыдный альковный секретик, которым Матье намеревался поделиться с Сарой. Сара подняла голову и улыбнулась.

– Здравствуйте, здравствуйте, – сказала она.

Матье ответил на ее улыбку: он видел сверху ее плоское и непривлекательное лицо, источенное добротой, а под ним, из-под кимоно, огромную дряблую грудь. Он поспешил спуститься.

– Какими судьбами? – спросила Сара.

– Мне нужно у вас кое-что спросить, – сказал Матье.

Лицо Сары порозовело от удовольствия.

– Все, что хотите, – мгновенно отозвалась она.

И добавила, радуясь удовольствию, которое она рассчитывала ему доставить:

– Вы знаете, кто у меня?

Матье повернулся к Брюне и пожал ему руку.

Сара обволакивала их растроганным взглядом.

– Привет, старый социал-предатель, – сказал Брюне.

Несмотря ни на что, Матье был рад услышать этот голос. Брюне был огромный, крепкий детина с медлительным крестьянским лицом. Вид у него был не особенно любезный.

– Привет, – сказал Матье. – А я уж думал, что ты умер.

Брюне засмеялся, не отвечая.

– Садитесь рядом со мной, – с жадностью сказала Сара.

Она собиралась оказать ему услугу и знала это; он стал ее собственностью. Матье сел. Малыш Пабло играл под столом в кубики.

– А где Гомес? – спросил Матье.

– Всегда одно и то же. Он в Барселоне, – сказала Сара.

– Вы получили от него какие-нибудь вести?

– На прошлой неделе. Расписывает свои подвиги, – с иронией ответила Сара.

Глаза Брюне блеснули:

– Знаешь, он уже полковник.

Полковник. Матье подумал о вчерашнем человеке, и сердце у него сжалось. Вот и Гомес уехал. Однажды он узнал из «Пари-суар» о падении Ируна и долго прохаживался по мастерской, запустив пальцы в черную шевелюру. Потом вышел с непокрытой головой, в одном пиджаке купить сигарет в кафе «Дом». И не вернулся. Комната осталась в том же состоянии, в каком он ее покинул: на мольберте – незаконченное полотно, на столе, посреди пузырьков с кислотой, – медная дощечка с незаконченной гравировкой. Картина и гравюра изображали миссис Стимпсон. На картине она была обнаженной. Матье мысленно увидел ее, пьяную и великолепную, хрипло поющую в объятиях Гомеса. Он подумал: «А все-таки по отношению к Саре он был подлецом».

– Вам открыл министр? – весело спросила Сара. Она не хотела говорить о Гомесе. Она ему простила все: его измены, его отлучки, его жестокость. Но только не это. Не его отъезд в Испанию: он отправился убивать людей, сейчас он убивал людей. Для Сары человеческая жизнь была священна.

– Какой министр? – удивился Матье.

– Мышонок с красными ушками – это министр, – сказала Сара с наивной гордостью. – Он был членом социалистического правительства в Мюнхене в двадцать втором году. А теперь подыхает с голоду.

– И вы, естественно, его приютили?

Сара засмеялась.

– Он пришел ко мне с чемоданом. Нет, серьезно, – сказала она, – ему некуда было идти. Его выгнали из гостиницы, так как ему нечем было платить.

Матье посчитал на пальцах.

– С Аней, Лопесом и Санти у вас получается четыре пансионера, – сказал он.

– Аня скоро уйдет, – виновато сказала Сара. – Она нашла работу.

– Это безумие, – вмешался Брюне.

Матье вздрогнул и повернулся к нему. Негодование Брюне было тяжелым и спокойным, с самым что ни на есть крестьянским гневом он глянул на Сару и повторил:

– Это безумие.

– Что? Что безумие?

– Ах! – воскликнула Сара, кладя ладонь на руку Матье. – Придите мне на помощь, мой дорогой Матье.

– Но о чем речь?

– Матье это неинтересно, – сказал Саре с недовольным видом Брюне.

Но она его больше не слушала.

– Он хочет, чтобы я выставила моего министра за дверь, – сказала она жалобно.

– Выставила?

– Он говорит, что я совершаю преступление, оставляя его у себя.

– Сара преувеличивает, – примирительно сказал Брюне.

Он повернулся к Матье и с неохотой объяснил:

– Дело в том, что у нас скверные сведения об этом малом. Кажется, полгода назад он бродил по коридорам германского посольства. Не нужно быть большим хитрецом, чтобы догадаться, что может там проворачивать еврейский эмигрант.

– У вас нет доказательств! – сказала Сара.

– Это верно. У нас нет доказательств. Имей мы их, его бы здесь уже не было. Но даже если есть всего лишь сомнения, со стороны Сары глупо и опасно давать ему приют.

– Но почему? Почему? – страстно вскричала Сара.

– Сара, – ласково сказал Брюне, – вы взорвали бы весь Париж, чтоб избавить от неприятностей своих протеже.

Сара слабо улыбнулась:

– Ну, не весь Париж, но я, конечно, не стану жертвовать Веймюллером ради ваших партийных счетов. Партия – это слишком абстрактно.

– Именно это я и говорил, – сказал Брюне.

Сара энергично затрясла головой. Она покраснела, ее большие зеленые глаза увлажнились.

– Мой маленький министр, – возмущенно сказала она. – Вы его видели, Матье. Да он и мухи не обидит!

Спокойствие Брюне было безмерным. Это было спокойствие моря. В нем было одновременно что-то успокаивающее и раздражающее. Он никогда не был особью, он жил жизнью толпы: медленной, молчаливой, шумной. Брюне пояснил:

– Гомес нам иногда присылает курьеров. Они приезжают сюда, и мы встречаемся с ними у Сары; ты, конечно, догадываешься, что сообщения у них секретные. Разве здесь место этому типу, который прослыл шпиком?

Матье не ответил. Брюне употребил вопросительную форму, но это был ораторский прием: он не спрашивал его мнения; Брюне давно уже перестал интересоваться мнением Матье о чем бы то ни было.

– Матье, я вас призываю нас рассудить: если я выгоню Веймюллера, он бросится в Сену. Разве можно, – добавила она с отчаянием, – толкать человека на самоубийство из-за одного только подозрения?

Сара выпрямилась, безобразная и сияющая. Она заставила Матье испытать смутное ощущение соучастия, которое испытывают к пострадавшим от несчастного случая, к задавленным, к беднякам, покрытым язвами и нарывами.

– Это серьезно? – спросил он. – Он бросится в Сену?

– Да нет, – возразил Брюне. – Он пойдет в немецкое посольство и окончательно запродастся.

– Это одно и то же, – сказал Матье. – Как бы там ни было, он пропал.

Брюне пожал плечами.

– Согласен, – сказал он равнодушно.

– Вы слышите, Матье? – воскликнула Сара, с волнением глядя на него. – Итак? Кто прав? Скажите же что-нибудь.

Матье было нечего сказать. Брюне не спрашивал его мнения, ему не нужно было мнение буржуа, задрипанного интеллигента, сторожевого пса капитализма. «Он меня выслушает с ледяной вежливостью, но поколеблется не больше, чем скала, он будет судить обо мне по тому, что я скажу, вот и все». Матье не хотел, чтобы Брюне как бы то ни было судил о нем. Уже давно

ни один из них из принципа не судил другого. «Дружба не для того, чтобы осуждать, – говорил тогда Брюне. – Она для того, чтобы доверять». Может, он говорит это и сейчас, но теперь уже он думает о своих товарищах по партии.

– Матье! – воззвала Сара.

Брюне наклонился к ней и притронулся к ее колену.

– Послушайте, Сара, – мягко сказал он. – Я люблю Матье и очень ценю его ум. Если бы речь шла о каком-нибудь непонятном отрывке из Спинозы или Канта, я, безусловно, проконсультировался бы у него. Но на сей раз я не нуждаюсь в арбитре, будь он хоть преподавателем философии. Мое мнение определено.

«Конечно, – подумал Матье. – Конечно». Его сердце сжалось, но он не обиделся на Брюне. «Кто я такой, чтобы давать советы? И во что я превратил свою жизнь?»

Брюне встал.

– Мне пора, – сказал он. – Разумеется, Сара, вы поступите, как пожелаете. Вы не состоите в партии, и то, что вы делаете для нас, уже существенно. Но если вы его оставите, то я просто попрошу вас прийти ко мне, когда Гомес пришлет вам известия о себе.

– Договорились, – сказала Сара.

Ее глаза блестели, казалось, она успокоилась.

– И не оставляйте улик. Сжигайте все, – сказал Брюне.

– Обещаю.

Брюне обернулся к Матье:

– До свидания, старый друг.

Руки он ему не подал, а внимательно, сурово и с беспощадным удивлением посмотрел на него вчерашним взглядом Марсель.

Матье был обнажен под этими взглядами: высокий голый парень, хлебный мякиш. Растяпа. «Кто я такой, чтобы давать советы?» Он сощурился: Брюне казался уверенным и узловатым. «А на моем лице написано поражение». Брюне заговорил; у него был совсем не тот тон, какого Матье ожидал.

– У тебя удрученный вид, – мягко сказал он. – Что-то случилось?

Матье тоже встал.

– Я... у меня неприятности. Но это пустяки.

Брюне положил руку ему на плечо. Взгляд его потерял уверенность.

– Какое идиотство. Все время мотаешься взад-вперед, и уже нет времени для старых друзей. Если ты загнешься, я узнаю об этом через месяц, да и то случайно.

– Ну, я так скоро не загнусь, – рассмеялся Матье.

Он чувствовал хватку Брюне на своем плече, подумал: «Он меня не осуждает», – и проникся к нему смиренной благодарностью.

Брюне остался серьезным.

– Конечно, – сказал он. – Не так скоро. Но...

Наконец он, казалось, решил.

– Ты свободен около двух? У меня есть немного времени, и я мог бы ненадолго заскочить к тебе: сможем малость поболтать, как в прежние времена.

– Как в прежние времена. Я абсолютно свободен, буду ждать тебя, – сказал Матье.

Брюне дружески ему улыбнулся. Он сохранил свою простодушную веселую улыбку. Затем повернулся и направился к лестнице.

– Я провожу вас, – сказала Сара.

Матье взглядом проследил за ними: Брюне поднимался по ступенькам с поразительной гибкостью. «Не все потеряно», – сказал себе Матье. И что-то шевельнулось в его груди, что-то теплое и тихое, похожее на надежду. Он прошелся по мастерской. Над его головой хлопнула дверь. Малыш Пабло серьезно смотрел на него. Матье подошел к столу и взял резец. Сидевшая

на медной пластине муха улетела. Пабло продолжал на него смотреть. Матье чувствовал себя смущенным, не зная почему. Казалось, что глаза ребенка его поглощают. «Дети, – подумал он, – маленькие обжоры, все их чувства сосредоточены в прожорливых ртах». Взгляд Пабло не был еще вполне человеческим, однако это уже была жизнь: недавно это дитя вышло из чрева, а уже кое-что собой представляло; оно было здесь, неуверенное, совсем махонькое, еще хранящее нездоровую бархатистость чего-то извергнутого; но за мутной влагой, заполняющей его глаза, засело маленькое жадное сознание. Матье играл с резцом. «Тепло», – подумал он. Вокруг него жужжала муха, а в розовой комнате в глубине другого чрева продолжал набухать пузырь.

– Знаешь, какой я видел сон? – спросил Пабло.

– Ну расскажи.

– Я видел сон, как будто я был пушинкой.

«Ведь оно думает!» – сказал себе Матье.

Он спросил:

– И что ты делал, когда был пушинкой?

– Ничего. Я спал.

Матье резко бросил резец на стол: испуганная муха закружилась, потом села на медную пластину между двумя бороздками, изображавшими женскую руку. Нужно действовать быстро, так как пузырь все это время надувался, он делал потаенные усилия оторваться, вырваться из мрака и стать подобным этому, маленькой бледной присоской, всасывающей окружающий мир.

Матье сделал несколько шагов к лестнице. Он слышал голос Сары. «Вот она открыла входную дверь, стоит на пороге и улыбается Брюне. Почему она медлит и не спускается?» Он повернул назад, посмотрел на ребенка, посмотрел на муху. «Ребенок. Мыслящая плоть, которая кричит и кровоточит, когда ее убивают. Муху убить легче, чем ребенка». Он пожал плечами: «Я никого не собираюсь убивать. Я только хочу помешать ребенку родиться». Пабло снова принялся играть в кубики, о Матье он уже забыл. Матье протянул руку, коснулся пальцем стола и удивленно повторил про себя: «Помешать родиться...» Как будто где-то был готовый ребенок, ждущий своего часа, чтобы выпрыгнуть по другую сторону декораций в эту пьесу жизни, под солнце, а Матье загоразливает ему проход. И действительно почти так и было: существовал совсем маленький человечек, задумчивый и тщедушный, капризный и болезненный, с белой кожей, с большими ушами, с родинками, с горсточкой отличительных примет, какие заносят в паспорт, человечек, который никогда не будет бегать по улицам – одной ногой по тротуару, а другой в сточной канавке; у него были глаза, пара зеленых глаз, как у Матье, или черных, как у Марсель, и они никогда не увидят ни сине-зеленых зимних небес, ни моря, ни единого лица; у него были руки, которые никогда не коснутся ни снега, ни женской плоти, ни коры дерева; был образ мира, кровавый, светлый, угрюмый, полный увлечений, мрачный, полный надежд, образ, населенный садами и домами, ласковыми девушками и ужасными насекомыми, образ, который разрушат проколом спицы, точно воздушный шарик в Луврском парке.

– Вот и я, – сказала Сара, – простите, что заставила вас ждать.

Матье поднял голову и почувствовал облегчение: она склонилась над перилами, тяжелая и уродливая; то была зрелая женщина, со старой плотью, которая, казалось, вышла из солёности и никогда не была рождена. Сара ему улыбнулась и быстро спустилась по лестнице, кимоно развевалось вокруг коротеньких ног.

– Ну что? Что случилось? – жадно спросила она.

Большие тусклые глаза настойчиво рассматривали его. Он отвернулся и сухо сказал:

– Марсель беременна.

– Вот как!

Вид у Сары был скорее обрадованный. Она застенчиво начала:

– Итак... вы скоро...



– Нет, нет, – живо перебил ее Матье, – мы не хотим детей.

– А! Да, – сказала она, – понимаю.

Она опустила голову и умолкла. Матье не смог вынести эту печаль, которая не была даже упреком.

– Помнится, и с вами такое когда-то случалось. Гомес мне говорил, – грубовато возразил он ее мыслям.

– Да. Когда-то...

И вдруг она подняла глаза и порывисто добавила:

– Знаете, это пустяк, если не упустишь время.

Она запрещала себе осуждать его, она отбросила осуждение и упреки, у нее было только одно желание – утешить.

– Это пустяк...

Он попытался улыбнуться, посмотреть в будущее с надеждой. Теперь по этой крошечной и тайной смерти будет носить траур только она.

– Послушайте, Сара, – сказал Матье раздраженно, – попытайтесь меня понять. Я не хочу жениться. И это не из эгоизма: по-моему, брак...

Он остановился: Сара была замужем, она вышла за Гомеса пять лет назад. Немного погодя он добавил:

– К тому же Марсель тоже не хочет ребенка.

– Она что, не любит детей?

– Они ее не интересуют.

Сара казалась озадаченной.

– Да, – проговорила она, – да... Тогда действительно...

Она взяла его за руки.

– Мой бедный Матье, как вы должны быть огорчены! Я хотела бы вам помочь.

– Именно об этом и речь, – сказал Матье. – Когда у вас были... эти затруднения, вы к кому-то обращались, кажется, к какому-то русскому.

– Да, – сказала Сара и переменялась в лице. – Это было ужасно.

– Да? – спросил Матье дрогнувшим голосом. – А что... это очень больно?

– Нет, не очень, но... – жалобно сказала она. – Я думала о маленьком. Знаете, так хотел Гомес. А в то время, когда он чего-то хотел... Но это был ужас, я никогда... Сейчас он мог бы умолять меня на коленях, но я бы этого снова не сделала.

Она растерянно посмотрела на Матье.

– После операции мне дали пакетик и сказали: «Бросьте в сточную канаву». В сточную канаву! Точно дохлую крысу! Матье, – сказала она, сильно сжимая ему руку, – вы даже не знаете, что собираетесь сделать!

– А когда производят на свет ребенка, разве больше знают? – с гневом спросил Матье.

Ребенок – одним сознанием больше, маленький бессмысленный ответ, который будет летать по кругу, ударяться о стены и уже не сможет убежать.

– Нет, но я хочу сказать: вы не знаете, чего требуете от Марсель. Боюсь, как бы она вас позже не возненавидела.

Матье снова представил себе глаза Марсель, большие, скорбные, обведенные кругами.

– Разве вы ненавидите Гомеса? – сухо спросил он.

Сара сделала жалкий и беспомощный жест: она никого не могла ненавидеть, а Гомеса меньше, чем кого бы то ни было.

– Во всяком случае, – сказала она, замкнувшись, – я не могу направить вас к этому русскому, он все еще оперирует, но он спился, я ему больше не доверяю. Два года назад он влип в грязную историю.

– А другого вы никого не знаете?

– Никого, – медленно сказала Сара. Но вдруг доброта озарила ее лицо, и она воскликнула: – Да нет же, я придумала, как же я раньше не догадалась! Я все улажу. Вальдман. Вы его не видели у меня? Еврей, гинеколог. Это в некотором роде специалист по абортam, с ним вы будете спокойны. В Берлине у него была огромная врачебная практика. Когда нацисты пришли к власти, он поселился в Вене. Затем произошел аншлюс, и он приехал в Париж с маленьким чемоданчиком. Но задолго до того он переправил все свои деньги в Цюрих.

– Вы думаете, получится?

– Естественно. Сегодня же пойду к нему.

– Я рад, – сказал Матье, – я страшно рад. Он не очень дорого берет?

– Раньше он брал до двух тысяч марок.

Матье побледнел: «Это же десять тысяч франков!»

Она живо добавила:

– Это был грабеж, он заставлял платить за свою репутацию. Здесь его никто не знает, и он будет разумней: я предложу ему три тысячи франков.

– Хорошо, – сказал Матье, стиснув зубы.

В мозгу стучало: «Где я возьму такие деньги?»

– Послушайте, – решила Сара, – а почему бы мне не пойти к нему сейчас же? Он живет на улице Блез-Дегофф, это совсем рядом. Я одеваюсь и выхожу. Вы меня подождете?

– Нет, я... У меня назначена встреча на половину одиннадцатого. Сара, вы сокровище, – сказал Матье.

Он взял ее за плечи и, улыбаясь, встряхнул. Она поступилась ради него своим сильнейшим отвращением, из великодушия стала соучастницей в деле, которое внушало ей ужас: она светилась от удовольствия.

– Где вы будете в одиннадцать? – спросила она. – Я могла бы вам позвонить.

– Я буду в «Дюпон Латен» на бульваре Сен-Мишель. Я там дождусь вашего звонка, хорошо?

– В «Дюпон Латен», договорились.

Пеньюар Сары широко распахнулся на ее огромной груди. Матье прижал ее к себе из нежности и чтобы не видеть ее тела.

– До свидания, – сказала Сара, – до свидания, мой дорогой Матье.

Она подняла к нему ласковое безобразное лицо. В нем была трогательная и почти чувственная покорность, которая подстрекала скрытое желание сделать ей больно, вызвать у нее стыд. «Когда я ее вижу, – говорил Даниель, – я понимаю садистов». Матье расцеловал ее в обе щеки.

«Лето!» Небо неотступно преследовало улицу, это было какое-то природное наваждение; люди плавали в небе, лица их пламенели. Матье вдыхал зеленый, живой запах, свежую пыль; он сощурил глаза и улыбнулся. «Лето!» Он сделал несколько шагов; черный расплавленный асфальт, усыпанный белой крошкой, прилипал к его подошвам: Марсель была беременна, и это было другое лето.

Она спала, ее тело купалось в густой тени и потело во сне. Ее красивая смугло-фиолетовая грудь осела, капельки просачивались наружу, белые и солоноватые, как цветы. Она спит. Она всегда спит до полудня. Но пузырь в ее чреве не спит, ему некогда спать: он питается и раздувается. Время текло непреклонными и непоправимыми толчками. Пузырь раздувался, а время текло. «Деньги нужно найти в ближайшие двое суток».

Люксембургский сад, прогретый и белый: статуи, голуби, дети. Дети бегают, голуби взлетают. Сплошной световой поток, ускользящие белые вспышки. Матье сел на железную скамью: «Где найти деньги? Даниель не даст, но я все же у него спрошу... На худой конец всегда можно обратиться к Жаку». Газон курчавился у самых ног, статуя выгнула к нему молодой

каменный зад, голуби ворковали и тоже казались каменными. «В конце концов мне не хватает каких-то двух недель, еврей подождет до конца месяца, а двадцать девятого зарплата».

Матье вдруг опомнился – он словно увидел то, о чем думает, и ужаснулся самому себе: «Сейчас Брюне идет по улицам, наслаждается светом, ему легко, потому что он в ожидании, он идет через хрупкий город, который вскоре разрушит, он чувствует себя сильным, он вышагивает немного вразвалку, осторожно, потому что еще не пробил час разрушения, он ждет его, он надеется. А я! А я! Марсель беременна. Уговорит ли Сара еврея? Где найти деньги? Вот о чем я размышляю!» Внезапно он снова увидел близко посаженные глаза под густыми черными бровями: «Из Мадрида. Клянусь тебе, я хотел туда поехать. Да не удалось». В голове пронеслось: «Я старик».

«Я старик. Вот я развалился на скамье, по уши увяз в своей жизни, ни во что не верю. Однако я тоже хотел отправиться в какую-нибудь Испанию. А потом не вышло. Разве эти Испании еще существуют? Я здесь, я себя смакую, я чувствую во рту застарелый вкус железистой воды и крови, мой вкус, я – это мой собственный вкус, я существую. Существовать – это пить себя, не испытывая жажды. Тридцать четыре года. Тридцать четыре года, как я себя смакую. И я старик. Я работал, ждал, имел что желал: Марсель, Париж, независимость; теперь все кончено. Больше я ничего не жду!» Он смотрел на этот обычный сад, всегда новый, всегда одинаковый, как море, целое столетие одно и то же, с одинаковыми легкими цветными волнами и тем же гулом. Те же дети, резвящиеся, как и столетие назад, то же солнце на гипсовых богинях с отбитыми пальцами, те же деревья; но была и Сара в желтом кимоно, была беременная Марсель, были деньги. И все это было так естественно, так обиходно, так монотонно самодостаточно, что могло заполнить жизнь, это и была жизнь. А остальное – все эти Испании, все эти воздушные замки – может, все это... «Что? Только тепловатая мирская религия для собственного употребления? Сдержанный небесный аккомпанемент всей моей подлинной жизни? Алиби? Именно таким они меня видят. Даниель, Марсель, Брюне, Жак: человек, который хочет быть свободным. Он ест, пьет, как все остальные, он государственный служащий, он не занимается политикой, он читает поддерживающие Народный фронт «Эвр» и «Попюлер», у него трудности с деньгами. Но он хочет быть свободным, как филателисты хотят приобрести коллекцию марок. Свобода – тайный сад. Его маленький сговор с самим собой. Человек ленивый и холодный, немного химерический, но в основе очень благоразумный, человек, который скрытно смастерил себе банальное, но прочное счастье и изредка оправдывает себя возвышенными соображениями. Разве я не таков?»

Ему семь лет, он в Питивье, у дяди Жюля, зубного врача, один, в приемной, он играет в игру, которая помешала бы ему существовать: нужно попытаться не проглотить себя, как будто во рту у тебя очень холодная жидкость, и ты задерживаешь маленькое глотательное движение, которое отправит ее в глотку. Ему удалось полностью опустошить свою голову. Но эта пустота еще имела вкус. Это был день глупостей. Он погряз в летнем пекле далекой провинции, пропахшем мухами, и действительно он только что поймал муху и оборвал ей крылышки. Он установил, что голова ее похожа на серную головку кухонной спички, нашел в кухне серку и потер об нее мушиную головку, ожидая, что головка загорится. Но действовал он небрежно: то была всего лишь маленькая праздная комедия, ему по-настоящему не удавалось ею увлечься, он хорошо знал, что муха не загорится; на столе были разорванные иллюстрированные журналы и прекрасная серо-зеленая китайская ваза с ручками, похожими на когти попугая; дядя Жюль говорил, что ей три тысячи лет. Матье подошел к вазе, заложив руки за спину, и посмотрел на нее, нетерпеливо переступая ногами: ужасно быть маленьким шариком из хлебного мякиша в этом древнем многослойном мире, рядом с этой бесстрастной трехтысячелетней вазой. Он повернулся к ней спиной и принялся озиаться и шмыгать носом перед зеркалом, но ему не удавалось развлечься, потом он вдруг вернулся к столу, поднял вазу, которая оказалась очень тяжелой, и бросил ее на паркет: это пришло ему в голову внезапно, и сразу же после этого он

почувствовал себя легким, как паутинка. Он восхищенно смотрел на черепки фарфора: что-то только что случилось с этой трехтысячелетней вазой среди пятидесятилетних стен, под вечным светом лета, что-то очень дерзкое, походившее на рассвет. Он подумал: «Это сделал я!» – и почувствовал себя гордым, свободным от мира, без привязанностей, без семьи, без корней, махоньким упрямым ростком, прободавшим земную твердь.

Ему было шестнадцать, он, маленький задира, лежал на песке в Аркашоне и смотрел на длинные плоские океанские волны. Он только что поколотил молодого бордосца, который бросал в него камни, и заставил того есть песок. Он сидел в тени сосен, запыхавшийся, ноздри его были наполнены запахом смолы, и ему казалось, что он зависший в воздухе маленький взрыв, круглый, крутой и необъяснимый. Он сказал себе: «Я буду свободным». Впрочем, он скорее ничего себе не сказал, но именно это ему хотелось сказать: он как бы зарекся, что вся его жизнь будет похожа на этот внезапный взрыв. Ему шел двадцать второй год, он читал в своей комнате Спинозу, был последний день карнавала накануне поста, по улице проезжали большие разноцветные повозки, нагруженные картонными манекенами: он поднял глаза и снова повторил свой зарок с философской выпретенностью, которая с недавних пор была свойственна Брюне и ему; он сказал себе: «Я спасу себя сам». Десятки, сотни раз твердил он свой завет. Слова менялись с возрастом, с новым интеллектуальным уровнем, но это была его единственная и неизменная клятва; и в собственных глазах Матье не был ни высоким, тяжеловатым мужчиной, преподававшим философию в мужском лицее, ни братом Жака Деларю, адвоката, ни любовником Марсель, ни другом Даниеля и Брюне; он был не чем иным, как своим зарок.

Какой зарок? Он провел рукой по уставшим от света глазам, он больше не был ни в чем уверен, все чаще и чаще он ощущал себя в некоем самоизгнании. Чтобы понять свой зарок, следовало быть в ладу с самим собой.

– Подайте мячик, пожалуйста!

Теннисный мячик подкатился к его ногам, мальчик бежал к нему с ракеткой в руке. Матье поднял мячик и кинул мальчугану. Определенно он был не в ладу с самим собой: он закис в этом вязком зное и ощущал давнее монотонное чувство обыденности – напрасно он повторял фразы, которые когда-то его вдохновляли: «Быть свободным. Быть самодостаточным, способным себе сказать: я существую, потому что этого хочу, быть своим собственным истоком». Пустые, высокопарные слова, докучная болтовня интеллектуала.

Он встал. Встал всего лишь служащий, обремененный денежными затруднениями и направлявшийся к сестре своего бывшего ученика. Он подумал: «Разве уже все ставки сделаны? Разве я всего лишь служащий?» Он так долго ждал, его последние годы были только вооруженным бодрствованием. Он ждал сквозь тысячи мелких, повседневных забот; конечно, он попутно приударял за женщинами, путешествовал, наконец, зарабатывал на жизнь. Но меж тем его единственной заботой было оставаться наготове. Наготове для поступка. Поступка свободного и обдуманного, который определит его дальнейшую жизнь и станет ее началом. Он никогда не мог полностью отдаться любви, удовольствию, он никогда не был по-настоящему несчастлив, ему всегда казалось, что он где-то в другом месте, что он еще не полностью родился. Он ждал. А за это время тихо, исподтишка подкрались годы и схватили его за шиворот. Теперь ему тридцать четыре. «Начинать следовало в двадцать пять. Как Брюне. Да, но тогда начинаешь с неполным пониманием сути. И в результате оказываешься одурачен... А я не хотел быть одураченным». Он мечтал поехать в Россию, бросить учебу, научиться какому-нибудь ремеслу. Но каждый раз за полшага до резких поворотов его удерживало отсутствие достаточных оснований. А без них все рушилось. И он продолжал ждать...

Парусные лодочки кружили в водоеме Люксембургского сада, орошаемые время от времени фонтанами. Он подумал: «Я больше не жду. Она права, я себя опустошил, сделал бесплодным, чтобы превратиться в вечное ожидание. Да, теперь я пуст. Но зато я больше ничего не жду».

Там, около фонтана, одна из лодок зачерпнула бортом воду. Все смеялись, глядя на нее; какой-то мальчишка пытался зацепить ее багром.

## IV

Матье посмотрел на часы: «Без двадцати одиннадцать, она опаздывает». Он не любил, когда она опаздывала, он всегда боялся, как бы она не довела себя до гибели. Она забывала все, она спасалась забвением, спасалась ежеминутно, забывая есть, забывая спать. Однажды она забудет дышать, и наступит конец. Два молодых человека остановились рядом с ним: они высокомерно разглядывали столик.

– Sit down<sup>3</sup>, – произнес один.

– Я sit down<sup>4</sup>, – ответил другой.

Они засмеялись и сели; у них были ухоженные руки, холодное выражение лиц, нежная кожа. «Здесь только молокососы», – раздраженно подумал Матье. Лицеисты или студенты, молодые самцы, окруженные бесцветными самками, имели вид сверкающих настырных насекомых. «Молодость занята, – подумал Матье, – извне блестит, а внутри ничего не чувствуешь». Ивиш чувствовала свою молодость. Борис тоже, но они исключения. Мученики молодости. «Все мы просто не знали, что были молоды, – ни я, ни Брюне, ни Даниель. Мы поняли это только потом».

Он без особого удовольствия думал о том, что поведет Ивиш на выставку Гогена. Матье любил показывать ей красивые картины, красивые фильмы, красивые предметы, потому что сам он красив не был, это был его способ извиняться. Ивиш его не извиняла: сегодня утром, как и раньше, она будет смотреть на картины с маниакальным нелюдимым видом; Матье будет стоять рядом с ней, некрасивый, навязчивый, забытый. Но однако, он и не хотел бы быть красивым. Никогда Ивиш не была более одинока, как перед лицом красоты. Матье сказал себе: «Сам не знаю, чего я от нее хочу». И тут он увидел Ивиш; она шла по бульвару рядом с завывающим высоким парнем в очках, она подняла к нему лицо и дарила ему лучезарную улыбку, они оживленно болтали. Когда она увидела Матье, ее глаза мгновенно погасли, она быстро попрощалась со своим спутником и рассеянно пересекла улицу Эколь. Матье встал.

– Привет, Ивиш!

– Здравствуйте, – сказала она.

Она сильно постаралась прикрыть лицо: начесала светлые кудри на щеки, челку спустила до глаз. Зимой ветер трепал ее волосы, обнажая полные бледные щеки и низкий лоб, который она называла «калмыцким»; тогда обнажалось ее лицо, широкое, бледное, детское и чувственное, похожее на луну среди облаков. Но сегодня Матье видел ее настоящее узкое и чистое лицо, напоминающее трагическую треугольную маску. Молодые соседи Матье повернулись к ней, по их лицам видно было, что они считают ее красивой. Матье с нежностью смотрел на нее, он был единственным среди всех этих людей, кто знал, что она некрасива. Ивиш села, спокойная и угрюмая. Она не была нарумянена, так как румяна портят кожу.

– Что будет мадам? – спросил официант.

Ивиш улыбнулась ему, ей нравилось, что ее называли «мадам»; потом она неуверенно обернулась к Матье.

– Закажите настойку из перечной мяты, – посоветовал он, – ведь вы ее любите.

– Я ее люблю? – удивилась Ивиш. – Тогда согласна. А что это такое? – спросила она, когда официант ушел.

– Зеленая мята.

– Это такое густое зеленое пойло, которое я пила в прошлый раз? Нет-нет, не хочу, от него вяжет во рту. Я всегда соглашаюсь, но мне не надо бы вас слушать. У нас разные вкусы.

---

<sup>3</sup> Садись (англ.).

<sup>4</sup> Сажусь (англ.).

– Вы сказали, что вам понравилось, – расстроенно возразил Матье.

– Да, но потом я вспомнила ее вкус. – Она вздрогнула. – Ни за что не буду ее пить.

– Официант! – крикнул Матье.

– Нет, нет, оставьте, сейчас он ее принесет, на вид это красиво. Но я к ней не притронусь, вот и все. Я не хочу пить.

Она умолкла. Матье не знал, что ей сказать: мало что интересовало Ивиш, да и ему не хотелось говорить. Марсель присутствовала и здесь; он ее не видел, не называл, но она была здесь. Ивиш он видел, мог назвать ее по имени или коснуться ее плеча, но вся она, и ее хрупкая талия, и красивая упругая грудь, была вне досягаемости; она казалась нарисованной и покрытой лаком, как недоступная таитянка на картинах Гогена. Скоро позвонит Сара. Посыльный позовет: «Месье Деларю!»; Матье услышит на другом конце провода мрачный голос: «Он хочет десять тысяч франков и ни су меньше». Больница, хирургия, запах эфира, денежные вопросы. Матье сделал усилие и повернулся к Ивиш, она закрыла глаза и легко водила пальцем по векам. Затем открыла глаза.

– У меня впечатление, что они сами по себе остаются открытыми. Время от времени я их закрываю, чтобы дать им отдохнуть. Они красные?

– Нет.

– Это от солнца, летом у меня всегда болят глаза. В такие дни нужно бы выходить только с наступлением ночи; иначе не знаешь куда деться – солнце преследует повсюду. И потом у людей влажные руки.

Матье под столом коснулся пальцем своей ладони: сухая. Это у другого, у высокого завитого парня, были влажные ладони. Он без волнения смотрел на Ивиш; он чувствовал себя виноватым и освобожденным, потому что все меньше придавал ей значения.

– Вам досадно, что я заставил вас выйти сегодня утром?

– Как бы то ни было, оставаться в моей комнате было невозможно.

– Но почему? – удивился Матье.

– Вы не знаете, что такое женское студенческое общежитие. Девушек постоянно опекают, особенно во время сессии. Кроме того, одна женщина вспылала ко мне страстью, она все время под разными предлогами заходит в мою комнату, гладит по волосам; ненавижу, когда ко мне прикасаются.

Матье едва слушал ее: он знал, что она не думает о том, что говорит. Ивиш раздраженно мотнула головой.

– Эта толстуха из общежития любит меня, потому что я блондинка. И всегда одно и то же, через три месяца она меня возненавидит, скажет, что я притворщица.

– Вы действительно притворщица, – заметил Матье.

– Да-а... – протянула она монотонным голосом, который заставил вспомнить о ее бледных щеках.

– Что вы хотите, люди в конце концов все же обратят внимание на то, что вы прячете от них щеки и опускаете перед ними глаза, точно недотрога.

– А вам разве понравится, когда узнают, кто вы? – Она добавила с легким презрением: – Действительно, к подобному вы не чувствительны. А вот смотреть людям в глаза, – продолжала она, – я не могу, у меня сразу в глазах щиплет.

– Сначала вы меня часто смущали, – сказал Матье. – И при этом смотрели на меня чуть выше лба. А я ужасно боюсь облысеть... Мне казалось, что вы заметили просвет в волосах и не можете отвести от него взгляда.

– Я на всех так смотрю.

– Да, или исподтишка: вот так...

Он бросил на нее быстрый и потаенный взгляд. Она засмеялась, одновременно развеселившись и разозлившись.

– Прекратите! Не хочу, чтобы меня передразнивали.

– Но я не со зла.

– Конечно, но мне всегда страшно, когда вы подражаете моей мимике.

– Понимаю, – сказал, улыбаясь, Матье.

– Это не то, что вы, вероятно, думаете: будь вы хоть самым красивым мужчиной на свете, для меня это было бы то же самое.

Она добавила изменившимся голосом:

– Как бы я хотела, чтоб у меня не болели глаза.

– Послушайте, – сказал Матье, – я сейчас пойду в аптеку и спрошу для вас капли. Но я жду звонка. Если мне позвонят, будьте так любезны, скажите посыльному, что я скоро вернусь, пусть перезвонят.

– Нет, не уходите, – холодно сказала она, – благодарю, но мне ничто не поможет, это от солнца.

Они замолчали. «Мне скучно», – подумал Матье со странным удовольствием. Ивиш разглаживала юбку ладонями, немного приподнимая пальцы, как будто собиралась нажать на клавиши пианино. Ее кисти были всегда красноваты; видно, из-за скверного кровообращения; она их обычно приподымала вверх и трясла ими, чтоб они побледнели. Они ей вовсе не служили, чтобы брать, это были два маленьких примитивных идола на конце рук; они слегка касались предметов незаконченными, мелкими движениями, скорее чтобы эти предметы моделировать, чем схватить. Матье поглядел на ногти Ивиш, длинные и заостренные, ярко покрашенные, почти китайские: достаточно было посмотреть на это хрупкое и неудобное украшение, чтобы понять – Ивиш ничего не могла делать этими десятью пальцами. Как-то один из ногтей сломался, она хранила его в крошечном гробике и время от времени созерцала со смесью ужаса и удовольствия. Матье однажды его видел: на нем сохранился лак, и он был похож на дохлого скарабея. «Не понимаю, что ее волнует; она никогда не была такой взвинченной. Скорее всего из-за экзамена. Или же ей смертельно скучно со мной: все-таки я взрослый».

– Наверняка вот так начинают слепнуть, – вдруг сказала Ивиш безразличным тоном.

– Наверняка не так, – улыбаясь, ответил Матье. – Вам ведь сказал доктор в Лаоне: у вас небольшой конъюнктивит.

Он говорил ласково, он улыбался ласково, он чувствовал себя отравленным ласковостью: с Ивиш нужно было всегда улыбаться, делать ласковые и медленные движения. «Как Даниель со своими кошками».

– У меня болят глаза, – сказала Ивиш, – достаточно пустяка... – Она заколебалась. – Я... мне больно в глубине глаз. В самой глубине. Разве это не начало того безумия, о котором вы мне говорили?

– А, эта давняя история? – спросил Матье. – Послушайте, Ивиш, в прошлый раз у вас болело сердце, и вы боялись сердечного приступа. Какое странное существо вы из себя воображаете, можно подумать, что вам необходимо мучить себя; а бывало, вы заявляли, будто здоровье у вас отменное; нужно выбрать что-то одно.

Голос оставлял в глубине его рта сладкий привкус.

Ивиш с замкнутым видом смотрела на свои ноги.

– Со мной должно что-то случиться.

– Знаю, – сказал Матье, – у вас на ладони линия жизни ломаная. Но вы мне сказали, что серьезно в это не верите.

– Да, я этому действительно не верю... И все же не могу представить себе свое будущее. Оно перегорожено.

Она замолчала. Матье молча смотрел на нее. Без будущего... Вдруг он почувствовал горечь во рту и ощутил, что страшно дорожит Ивиш. И это правда, у нее не было будущего: Ивиш в тридцать лет, Ивиш в сорок лет – это не имеет ни малейшего смысла. Он подумал:



она нежизнеспособна. Когда Матье был один или когда он говорил с Даниелем, с Марсель, его жизнь простиралась перед ним, ясная и монотонная: какие-то женщины, какие-то путешествия, какие-то книги. Длинный склон, по которому он медленно-медленно спускается, нередко он даже считал, что все идет недостаточно быстро. Но, когда он видел Ивиш, жизнь казалась ему катастрофой. Ивиш была маленьким, полным неги и драматизма страданием, не имеющим исхода: либо она уедет, либо потеряет рассудок, либо умрет от сердечного приступа, либо родители запрут ее в Лаоне. Но Матье не представлял себе жизни без нее. Он сделал робкое движение: ему хотелось взять руку Ивиш выше локтя и сжать изо всех сил. «Ненавижу, когда ко мне прикасаются». Рука Матье упала. Он поспешно сказал:

– У вас очень красивая блузка, Ивиш.

Это была оплошность: Ивиш напряженно наклонила голову и смущенно ощупала блузку. Compliments она воспринимала как оскорбления, словно кто-то топором кромсал ее образ, грубоватый и чарующий, которого она побаивалась. Она в одиночестве примеривала его к себе, думала о нем беззвучно, ласково и почти уверенно. Матье покорно смотрел на хрупкие плечи Ивиш, на ее высокую округлую шею. Она часто говорила: «Ненавижу людей, которые не чувствуют своего тела». Матье чувствовал свое тело, но скорее как большой, стесняющий его пакет.

– Вы все еще хотите посмотреть картины Гогена?

– Какого Гогена? А! Выставку, о которой вы говорили? Ну что ж, это можно.

– У вас такой вид, будто вы не хотите.

– Нет, хочу.

– Если не хотите, Ивиш, скажите прямо.

– Но вы же хотите.

– Вы знаете, что я там уже был. Я хочу показать ее вам, если вам это доставит удовольствие, но, если вам не хочется, эта выставка меня больше не интересует.

– Раз так, я предпочитаю пойти в другой день.

– Но выставка завтра закрывается, – разочарованно проговорил Матье.

– Ну что ж, тем хуже, когда-нибудь потом ее повторят, – вяло отозвалась Ивиш. И живо добавила: – Их ведь повторяют, правда?

– Ивиш, – сказал Матье мягко, но раздраженно, – в этом вы вся. Скажите лучше, что вам не хочется, вы же хорошо знаете, что такое не скоро повторится.

– Ну что ж, – мило сказала она, – я не хочу туда идти, потому что я нервничаю из-за экзамена. Это ужасно – заставлять так долго ждать результата.

– Разве он будет не завтра?

– Вот именно. – Она добавила, дотронувшись кончиками пальцев до рукава Матье: – Не нужно обращать на меня внимания, сегодня я сама не своя. Я завишу от других, это унижительно, у меня все время перед глазами маячит белый лист, прикрепленный к серой стене. Не могу думать ни о чем другом. Уже проснувшись утром, я поняла, что нынешний день – вычеркнутый. У меня его украли, а их у меня не так уж много.

Она добавила тихо и быстро:

– Я провалилась на практическом по ботанике.

– Понимаю, – сказал Матье.

Он попытался обрести в своих воспоминаниях волнение, которое позволило бы ему понять тревогу Ивиш. Может быть, накануне конкурса на должность преподавателя лица... Нет, как бы то ни было, это не одно и то же! Он прожил без риска, безмятежно. Теперь он почувствовал себя беззащитным среди угрожающего мира, но это возникло только благодаря Ивиш.

– Если меня допустят к экзаменам, – сказала она, – я немножко выпью перед тем, как идти на устный.

Матье не ответил.

– Совсем немножко, – повторила Ивиш.

– Вы это говорили перед конкурсным экзаменом в феврале, а потом хороши же вы были, когда выпили четыре стаканчика рома и были в стельку пьяны.

– Все равно меня не допустят, – неискренне сказала она.

– Это понятно, но если вас все-таки допустят?

– Ладно, не буду пить.

Матье не настаивал: он был уверен, что она придет на устный экзамен навеселе. «Я бы такого не сделал, я всегда был слишком осторожен». Он разозлился на Ивиш и был противен себе самому. Официант принес рюмку и до половины налил ее зеленой мятной настойкой.

– Сейчас я вам принесу ведро со льдом.

– Большое спасибо, – ответила Ивиш.

Она смотрела на рюмку, а Матье – на нее. Сильное и неопределенное желание охватило его: стать на мгновение этим рассеянным существом, переполненным собственным запахом, почувствовать изнутри эти длинные тонкие руки, ощутить, как на сгибе руки складки кожи предплечья склеиваются, как губы, перевоплотиться в это тело и познать все те укромные поцелуйчики, которыми оно себя непрерывно осыпает. Стать Ивиш, оставаясь при этом самим собой. Ивиш взяла ведро из рук официанта, положила себе в рюмку кубик льда.

– Не для того, чтобы пить, – сказала она, – но так красивее.

Она немного сощурила глаза и по-детски улыбнулась.

– Красиво.

Матье с раздражением смотрел на рюмку, он пытался наблюдать плотное и неуклюжее движение жидкости за смутной белизной льда. Напрасно. Для Ивиш это маленькое вязкое и зеленое наслаждение, которое охватывало ее вплоть до кончиков пальцев; для него это ничто. Меньше, чем ничто: рюмка с мятной настойкой. Он мог вообразить, что почувствовала Ивиш, но сам никогда ничего не чувствовал: для нее вещи были живыми соучастниками, их постоянные эманации проникали в нее до самого нутра, Матье же всегда видел предметы только издалека. Он поглядел на нее и вздохнул: как всегда, опоздал; Ивиш больше не смотрела на рюмку, она погрузилась и принялась нервно тереть локоны.

– Хочется курить.

Матье достал из кармана пачку «Голд флейк» и протянул ей.

– Сейчас дам вам огня.

– Спасибо, предпочитаю зажечь сама.

Она раскурила сигарету, сделала несколько затяжек. Приблизила руку ко рту и с маниакальным видом забавлялась, направляя дым вдоль ладони. Она объяснила самой себе:

– Мне хочется, чтобы дым выпускала как бы моя рука. Было бы забавно – рука, выпускающая туман.

– Так не бывает, дым очень быстро улетучивается.

– Я знаю, это меня раздражает, но не могу остановиться. Я чувствую свое дыхание, которое щекошет мне руку, оно проходит как раз посередине, как будто ладонь разделена надвое какой-то преградой.

Ивиш издала короткий смешок и замолкла, она по-прежнему дула на руку, упрямая и недовольная. Затем бросила сигарету и тряхнула головой: запах ее волос достиг обоняния Матье: запах пирога и ванильного сахара, так как она мыла голову яичным желтком; и в этом аромате кондитерской было что-то плотское.

Матье подумал о Саре.

– О чем вы думаете, Ивиш? – спросил он.

Она на секунду замерла с открытым ртом, растерянная, затем обрела прежний созерцательный вид, и лицо ее стало непроницаемым. Матье почувствовал, что устал смотреть на нее, у него защипало в уголках глаз.

– О чем вы думаете? – повторил он.

– Я... – Ивиш встряхнулась. – Вы все время спрашиваете об этом. Да ни о чем определенном. Толком и не определишь.

– И все же?

– Ну что ж, я смотрела, к примеру, на этого человечка. Чего вы от меня ждете? Чтобы я вам сказала: он толстый, он вытирает губы платком, на нем галстук?.. Странно, что вы меня заставляете говорить о таких пустяках, – сказала она, внезапно устыдившись и разозлившись, – это совершенно не важно.

– Нет, для меня важно. Как бы я хотел, чтобы вы думали вслух.

Ивиш невольно улыбнулась.

– Но речь дана не для такой ерунды, – ответила Ивиш.

– Забавно, но к речи вы испытываете уважение туземца, похоже, вы считаете, что она дана нам только для того, чтобы объявлять о смертях, браках или служить мессе. Тем не менее вы смотрели не на людей, Ивиш, я видел, вы смотрели на свою руку, а потом на ногу. И вообще я знаю, о чем вы думали.

– Зачем же вы тогда спрашиваете? Не нужно особой проницательности, чтобы догадаться: я думала об экзамене.

– Вы боитесь провалиться, так?

– Естественно, боюсь провалиться. Скорее нет, не боюсь. Я и так знаю, что провалилась.

Матье снова почувствовал во рту привкус непоправимого: если она провалится, я ее больше не увижу. А ведь она определенно провалится, это яснее ясного.

– Не хочу возвращаться в Лаон, – с отчаянием сказала Ивиш. – Если я провалю экзамен и придется вернуться, мне оттуда больше не вырваться, меня предупредили, что это мой последний шанс.

Она снова принялась тербить волосы.

– Если б я набралась смелости... – неуверенно сказала она.

– То что бы вы сделали? – с беспокойством спросил Матье.

– Все равно что. Все, что угодно, но только бы не возвращаться в Лаон, я не хочу там влачить свои дни, не хочу!

– Но вы мне говорили, что ваш отец, возможно, через год-два продаст лесопильный завод и семья переедет в Париж. Так что можно и потерпеть.

– Терпеть! Все вы такие, – выкрикнула Ивиш, направив на него сверкающий от гнева взгляд. – Посмотрела бы я на вас там! Два года в этом подземелье, терпеть два года! Вы что, не можете уразуметь, что значат эти два года, которые у меня отнимут? У меня только одна жизнь, – выкрикнула она в бешенстве. – Послушать вас, можно подумать, что вы бессмертны. По-вашему, потерянный год возмещается! – На глазах у нее выступили слезы. – Неправда, моя молодость будет уходить капля за каплей. Я хочу жить сейчас, а я еще не начала, у меня нет времени ждать, я уже старая, мне двадцать один год!

– Ивиш, прошу вас, – сказал Матье, – вы меня пугаете. Попробуйте по крайней мере один раз четко сказать мне, что у вас с практическими работами. То у вас довольный вид, то вы в отчаянии.

– Я все завалила, – мрачно сказала Ивиш.

– Я думал, что вы успешно сдали физику.

– Как же! – насмешливо отозвалась Ивиш. – Химия тоже была никудышной, я не могла вбить себе в голову дозировки, это все такая чушь.

– Но почему вы выбрали именно это?

– Что «это»?

– Естественные науки.

– Нужно же было вырваться из Лаона, – свирепо ответила она.

Матье бессильно махнул рукой; они замолчали. Из кафе вышла женщина и медленно прошла мимо них; она была красива, маленький носик на гладком лице; казалось, она кого-то искала. Сначала Ивиш услышала ее духи и медленно подняла хмурое лицо – оно мгновенно преобразилось.

– Дивное создание, – произнесла она тихим, глубоким голосом. Матье испугался этого голоса.

Женщина остановилась, сощурившись от солнца, ей могло быть лет тридцать пять, через легкий креп платья видны были ее длинные ноги, но Матье не хотелось на них смотреть, он смотрел на Ивиш. Ивиш сделалась почти безобразной, она сильно сжимала ладони. Однажды она сказала Матье: «Маленькие носики вызывают у меня желание укунить их». Матье немного наклонился и увидел ее в три четверти; у нее был сонный и жестокий вид, и он подумал, что сейчас у нее возникло желание кусаться.

– Ивиш, – нежно позвал Матье.

Она не ответила; Матье знал, что она не может ответить: он для нее больше не существовал, она была совсем одна.

– Ивиш!

Именно в такие мгновения он больше всего дорожил ею, когда ее маленькое очаровательное и почти жеманное тело населяла мучительная сила, жгучая и мутная, обездоленная любовь к красоте. Он подумал: «Я некрасив», – и почувствовал себя, в свою очередь, одиноким.

Женщина ушла. Ивиш проследила за ней взглядом и яростно прошептала:

– Иногда хочется быть мужчиной.

Она издала короткий смешок, и Матье грустно посмотрел на нее.

– Месье Деларю просят к телефону! – прокричал посыльный.

– Иду! – откликнулся Матье.

Он встал.

– Извините, это Сара Гомес.

Ивиш холодно улыбнулась; он вошел в кафе и спустился по лестнице.

– Вы месье Деларю? Пожалуйста, в первую кабину.

Матье взял трубку, дверь кабины не закрывалась.

– Аллю, это Сара?

– Еще раз здравствуйте, – слышался гнусавый голос Сары. – Ну вот, все улажено.

– Я рад.

– Только нужно поторопиться: в воскресенье он уезжает в Штаты. Он хотел бы сделать это не позднее чем послезавтра, чтобы иметь возможность первые дни понаблюдать за ней.

– Хорошо... Сегодня же предупрежу Марсель, только это застало меня немного врасплах и мне нужно найти деньги. Сколько он хочет?

– Ах! Я очень сожалею, – сказала Сара, – но он хочет четыре тысячи наличными; клянусь, я настаивала, сказала, что вы стеснены в средствах, но он не захотел ничего слышать. Подлый еврей, – добавила она, смеясь.

Сару переполняло неиспользованное сострадание, но, когда она бралась оказать услугу, она становилась прямолинейной и деловой, как сестра милосердия. Матье немного отстранил трубку, он подумал: «Четыре тысячи франков», – а между тем смех Сары потрескивал в маленькой черной мембране, это был какой-то кошмар.

– Через два дня? Ладно, я... Я постараюсь. Спасибо, Сара, вы сокровище, вы будете дома сегодня до ужина?

– Весь день.

– Хорошо. Я заскочу, нужно еще кое-что уладить.

– До вечера.

Матье вышел из кабины.

– Мне нужен жетон, мадемуазель. Ах, нет. Не стоит.

Он бросил двадцать су на блюдце и медленно поднялся по лестнице. Не стоило звонить Марсель, пока не улажено с деньгами. «В полдень пойду к Даниелю». Он снова сел рядом с Ивиш и холодно посмотрел на нее.

– У меня больше не болит голова, – мило сказала она.

– Я рад.

На душе у него было муторно.

Ивиш глядела в сторону сквозь длинные ресницы. У нее была смущенная кокетливая улыбка.

– Мы могли бы... Мы могли бы все же пойти посмотреть Гогена.

– Если угодно, – без удивления сказал Матье.

Они встали, Матье заметил, что рюмка Ивиш пуста.

– Такси! – крикнул он.

– Не это, – заупрямилась Ивиш, – оно с открытым верхом, ветер будет дуть в лицо.

– Нет, нет, – сказал Матье шоферу, – поезжайте, это не вам.

– Остановите вот это, – потребовала Ивиш, – красивое, как карета на празднике Святого Причастия, к тому же закрытое.

Такси остановилось, Ивиш села в него. Матье подумал: « Попрошу у Даниеля на тысячу франков больше, чтобы дотянуть до конца месяца».

– Галерея изящных искусств, Фобур Сент-Оноре.

Он молча сел рядом с Ивиш. Оба были смущены.

Матье увидел у своих ног три наполовину выкуренных сигареты с позолоченными фильтрами.

– В этом такси кто-то нервничал.

– Почему?

Матье показал на окурки.

– Женщина, – решила Ивиш, – есть следы помады.

Они улыбнулись и замолчали. Матье вспомнил:

– Однажды я нашел в такси сто франков.

– Должно быть, вы обрадовались.

– Нет! Я отдал их шоферу.

– Вот как! А я бы оставила себе. Почему вы их отдали?

– Не знаю.

Такси пересекло площадь Сен-Мишель, Матье чуть не сказал: «Посмотрите, какая Сена зеленая», – но промолчал. Внезапно Ивиш проговорила:

– Борис рассчитывает, что мы втроем пойдем сегодня вечером в «Суматру», я бы не отказалась...

Она повернула голову и смотрела на волосы Матье с нежностью, приближая губы. Ивиш не была в полном смысле слова кокетлива, но время от времени напускала на себя нежный вид из удовольствия ощутить свое лицо тяжелым и сладким, как сочный плод. Матье счел это раздражающим и неуместным.

– Рад повидать Бориса и побыть с вами, – сказал он. – Что меня немного смущает, так это Лола; вы ведь знаете, она меня не выносит.

– Ну и что из того?

Наступило молчание. Как будто они вдруг одновременно представили себя влюбленной парочкой, сидящей в такси. «Этого не должно быть», – с раздражением подумал Матье; Ивиш продолжала:

- Не думаю, что стоит обращать внимание на Лолу. Она красива, хорошо поет, вот и все.
- Я считаю ее симпатичной.

– Естественно. Это ваш принцип: вы всегда хотите быть совершенным. Когда люди вас ненавидят, вы изо всех сил стараетесь найти в них хорошие качества. Я же не считаю ее симпатичной, – добавила она.

- С вами она мила.

- Она не может иначе; но я ее не люблю, она вечно ломает комедию.

– Комедию? – переспросил Матье, поднимая брови. – Вот уж в этом я упрекнул бы ее в последнюю очередь.

– Странно, что вы этого не заметили: она испускает многочисленные вздохи, чтоб ее сочли впавшей в отчаяние, и тут же заказывает себе лучшие блюда.

Она добавила со скрытой злостью:

– Думаю, что отчаявшиеся люди плюют на смерть: я всегда удивляюсь, когда вижу, как она до последнего су рассчитывает свои расходы и копит денежки.

– Это не мешает ей быть в отчаянии. Так поступают стареющие люди: когда они испытывают отвращение к себе и к своей жизни, то думают о деньгах и тем убажывают себя.

- Значит, нельзя стареть, – сухо заметила Ивиш.

Он смущенно посмотрел на нее и поторопился добавить:

- Вы правы, старым быть некрасиво.

– Ну уж вы-то человек без возраста, – сказала Ивиш, – мне кажется, что вы всегда были таким, как сейчас, у вас вечная молодость. Иногда я пытаюсь представить себе, каким вы были в детстве, но не могу.

- У меня были кудряшки, – сказал Матье.

- А я представляю себе, что вы были таким, как сейчас, только поменьше.

На этот раз Ивиш не подозревала, что ее слова прозвучали нежно. Матье хотел заговорить, но у него странно запершило в горле, и он потерял самообладание. Он оставил позади Сару, Марсель и бесконечные коридоры больницы, где мысленно бродил все утро, он был нигде, он чувствовал себя свободным; этот летний день слегка касался его своей плотной и теплой массой, ему хотелось упасть в нее всем телом. Еще секунду ему казалось, что он завис в пустоте с невыносимым ощущением свободы, потом он вдруг протянул руку, обнял Ивиш за плечи и привлек к себе. Ивиш напряженно подчинилась, как бы теряя равновесие. Она ничего не сказала; вид у нее был безразличный.

Такси выехало на улицу Риволи, аркады Лувра тяжело пролетали вдоль стекол, как большие голуби. Было жарко. Матье чувствовал у своего бока теплое тело; через ветровое стекло он видел деревья и трехцветный флаг на оконечности мачты. Он вспомнил одного человека, которого однажды увидел на улице Муфтар: довольно хорошо одетый мужчина с совершенно серым лицом. Он подошел к киоску и долго смотрел на кусок холодного мяса, лежавшего на витрине, затем протянул руку и взял мясо; казалось, ему это было совсем просто, он тоже должен был чувствовать себя свободным. Хозяин закричал, полицейский увел этого человека, который как будто и сам удивлялся. Ивиш все еще молчала.

«Она меня осуждает», – раздраженно подумал Матье.

Он наклонился; чтобы наказать ее, он слегка поцеловал ее холодные сжатые губы. Подняв голову, он увидел ее глаза, и его злорадное торжество мгновенно улетучилось. Он подумал: «Женатый мужчина лапает девушку в такси», – и его рука упала, помертвевшая и ватная; тело Ивиш выпрямилось с механическим колебанием, как маятник, отведенный в сторону из положения равновесия. «Все, – сказал себе Матье, – это непоправимо». Он сгорбился, ему

хотелось бы растаять. Полицейский поднял жезл, такси остановилось. Матье смотрел прямо перед собой, но не видел деревьев; он взирал на свою любовь.

Да. Это любовь. Теперь это была любовь. Матье подумал: «Что я сделал?» Пять минут назад эта любовь не существовала; между ними было редкое и драгоценное чувство, не имевшее названия, оно не могло выражаться поступками. А он совершил поступок, единственный, которого не следовало делать, и это не нарочно, все пришло само собой. Этот жест и эта любовь предстали перед Матье, как нечто большое, назойливое, теперь уже порядком вульгарное. Отныне Ивиш будет думать, что он ее любит; она решит: он – как все остальные; отныне Матье будет любить Ивиш, как других женщин, которых любил до этого. «О чем она думает?» Она сидела рядом с ним, напряженная, молчаливая, и между ними был этот поступок, «ненавижу, когда ко мне прикасаются», это неловкое и нежное движение, которое имело теперь клеймо бесповоротности происшедшего события. «Она злится, она меня презирает, она думает, что я – как все. А я хотел от нее другого», – подумал он с отчаянием. Но он уже был не в состоянии вспомнить, чего же он хотел до этого. Любовь была здесь, округлая, простая, с элементарными желаниями и банальными повадками, сам Матье заставил ее зародиться в недрах своей полной свободы. «Это неправда, – сказал он себе энергично, – я не желаю ее, я никогда ее не желал». Но он уже знал, что будет ее желать. «Всегда кончается этим, я буду смотреть на ее ноги и грудь, а потом, в один прекрасный день...» Внезапно он увидел Марсель, как она лежит на кровати, совершенно голая, с закрытыми глазами; он ненавидел Марсель.

Такси остановилось; Ивиш открыла дверцу и вышла на мостовую. Матье не сразу вышел за ней; он созерцал, округлив глаза, эту новую и уже старую любовь, любовь женатого, постыдную и тайную, унижительную для нее, униженную заранее; теперь он принимал ее как неизбежность. Наконец он вышел, расплатился и подошел к Ивиш, которая ждала его у ворот. «Если бы только она могла забыть». Он взглянул на нее украдкой и отметил, что вид у нее суровый. «Так или иначе, а между нами что-то кончилось», – подумал он. Но ему не хотелось мешать самому себе любить ее. Они направились на выставку, не обменявшись ни словом.

## V

«Архангел!» Марсель зевнула и, привстав, тряхнула головой, это была ее первая мысль: «Сегодня вечером придет Архангел». Она любила эти таинственные посещения, но сегодня она подумала об этом без удовольствия. В воздухе вокруг нее тяжело повис ужас, полуденный ужас. Отпустившая жара теперь наполняла комнату, она уже отслужила свое на улице, а здесь оставила свое сияние в складках шторы и застоялась там, инертная и зловещая, как судьба. Марсель снова подумала об Архангеле. «Если бы он узнал, он, такой чистый, я стала бы ему противна». Она села на край кровати, как накануне, когда Матье сидел напротив нее голый, и с угрюмым отвращением смотрела на большие пальцы своих ног; вчерашний вечер был еще здесь, неумолимый, со своим мертвым и розовым светом, как остывший запах. «Я не смогла... Я не смогла ему признаться». Он бы сказал: «Хорошо! Все уладится», – с тем лихим и бесшабашным видом, с которым поглощают снадобье. Она знала, что не смогла бы вынести этого лица; слова застряли у нее в горле. Она подумала: «Полдень!» Потолок был серым, как раннее утро, но уже был полуденный жар. Марсель засыпала поздно и перестала различать времена суток, ей иногда казалось, что жизнь ее остановилась однажды в полдень, что жизнь вообще была вечным полднем, обрушившимся на предметы полднем, дождливым, безнадежным и таким бесполезным. Снаружи был день, разгар дня, светлые наряды. Матье шагал где-то там, снаружи, без нее, в живом и веселом облаке пыли начавшегося дня, уже имеющего некое прошлое. «Он думает обо мне, он суетится», – недружелюбно подумала Марсель. Она была раздражена, так как представляла это тяжелое сострадание под ярким полуденным солнцем, это неловкое и деятельное сострадание здорового человека. Она чувствовала себя медлительной и влажной, еще тронутой сном; на ее голове была как бы стальная каска, привкус хмеля во рту, ощущение вялости в боках, а под мышкой, на кончиках черных волосков, кристаллики прохлады. Ее подташнивало, но она сдерживалась: ее день еще не начался, он был здесь, рядом с Марсель, в неустойчивом равновесии, малейшее неосторожное движение, малейший жест – и он рухнет лавиной. Она хмуро усмехнулась: «Вот она, свобода!» Когда просыпаешься утром со сжавшимся сердцем и нужно убить пятнадцать часов перед тем, как снова лечь, какое имеет значение, что ты свободна?

«Свобода не помогает жить». Как будто тонкие маленькие перышки, смазанные алоэ, ласкали изнутри ее горло, а потом отвращение ко всему, изогнувшийся язык оттягивал губы назад. «Мне повезло, кажется, есть такие, кто уже на втором месяце блюет целыми днями, а меня тошнит только по утрам, после полудня я устаю, но держусь; мама знала женщин, которые не переносили запаха табака, этого еще не хватало». Она вскочила и подбежала к умывальнику; ее рвало пенистой мутной жидкостью, похожей на слегка взбитый белок. Марсель уцепилась за край фаянсовой раковины и смотрела на пенистую жидкость: скорее она походила на сперму. Марсель криво улыбнулась и прошептала: «Любовный сувенир». Затем в голове ее наступила гулкая металлическая тишина, и день начался. Она ни о чем больше не думала, только провела рукой по волосам и погрузилась в ожидание: «По утрам меня всегда рвет два раза». Потом она внезапно вспомнила лицо Матье, его наивный и в то же время уверенный вид в ту минуту, когда он сказал: «Мы от него избавимся, разве не так?» Ее пронзила вспышка ненависти.

Подступило. Сначала Марсель подумала о сливочном масле и почувствовала к нему отвращение, ей показалось, будто она жует кусок желтого прогорклого масла, она тут же ощутила в глубине глотки что-то вроде приступа хохота и нагнулась над раковиной. На губах висела тонкая нить, Марсель закашляла, чтобы освободиться от нее. Это не вызывало в ней отвращения. Но она часто становилась себе противной: прошлой зимой, когда у нее был понос, она не хотела, чтобы Матье дотрагивался до нее, ей постоянно казалось, что от нее скверно пахнет. Она смотрела на слизь, которая медленно скользила к отверстию раковины, оставляя



блестящие, липкие следы. Она вполголоса прошептала: «Ну и дела!» Эти выделения у нее не вызывали брезгливости: все же это жизнь, подобная клейкому зарождению весны, все это не более отталкивает, чем пахучий рыжий клей, покрывающий почки. «Не это отвратительно». Она плеснула немного воды, чтобы вымыть раковину, вялыми движениями сняла рубашку. Она подумала: «Будь я животным, меня оставили бы в покое». Она смогла бы предаться этой животительной истоме, купаться в ней, как в лоне огромной счастливой усталости. Но она не животное. «Мы от него избавимся, разве не так?» Со вчерашнего вечера она чувствовала себя затравленной.

Зеркало отражало ее лицо, обрамленное свинцовыми тенями, Марсель подошла ближе к зеркалу. Она не глядела ни на свои плечи, ни на грудь: она не любила своего тела. Она смотрела на свой живот, на широкий плодоносный таз. Семь лет назад, утром – Матье тогда впервые провел с ней ночь – она подошла к зеркалу с тем же неуверенным удивлением, тогда она думала: «Значит, правда, меня можно любить?» – она созерцала свою гладкую шелковистую кожу, похожую на ткань; тело ее было только поверхностью, ничем, кроме поверхности, созданной, чтобы отражать чистую игру света и морщиниться под ласками, точно море под ветром. Сегодня это уже не та плоть: она посмотрела на свой живот и вновь испытала перед спокойным изобилием тучных плодородных лугов то же ощущение, которое испытывала, когда была маленькой, при виде женщин, кормящих грудью детей в Люксембургском саду: еще оттуда шел ее страх, ее отвращение и что-то вроде надежды. Она подумала: «Это здесь». В этом чреве маленькая кровавая земляника с невинной поспешностью торопилась жить, маленькая кровавая земляничина, совсем бессмысленная, которая даже не стала еще животным и которую скоро выскребут кончиком ножа. «В этот час многие другие тоже смотрят на свой живот и думают так же: «Это здесь». Но они-то гордятся». Она пожала плечами: это бездумно созревшее тело было создано для материнства, но мужчина распорядился им иначе. Она пойдет к той бабке: надо просто представить себе, что это фиброма. «Сейчас это действительно всего-навсего фиброма». Она пойдет к бабке, раздвинет ноги, и та будет скрести глубоко между ее бедер каким-то приспособлением. А потом об этом не будет и речи, останется лишь постыдное воспоминание, подумаешь, со всеми такое случается. Она вернется в свою розовую комнату, будет продолжать читать, мучиться желудком, и Матье будет приходить к ней четыре ночи в неделю, какое-то время будет обращаться с ней с ласковой деликатностью, как с молодой матерью, а в постели удвоит предосторожности, и Даниель, Архангел Даниель, время от времени будет приходить тоже... Загубленная возможность! Марсель застала врасплох свой взгляд в зеркале и быстро отвернулась: нет, она не хотела ненавидеть Матье. Она подумала: «Пора все же привести себя в порядок».

У нее не было на это сил. Марсель снова села на кровать, осторожно положила руку на живот, как раз над черными волосками, немного нажала и подумала с какой-то нежностью: «Это здесь». Но ненависть не складывала оружия. Марсель попыталась себе втолковать: «Нет, не хочу его ненавидеть. Он по-своему прав... Мы всегда говорили, что в случае чего... Он не мог знать, это моя вина, я никогда ничего ему не говорила». Она на мгновение поверила, что может расслабиться, ей вовсе не хотелось иметь повод его презирать. Но тут же она вздрогнула: «А как я могла ему сказать? Он никогда ничего у меня не спрашивает». Конечно, они раз и навсегда договорились, что будут рассказывать друг другу все, но это было удобно главным образом для него. Он любил демонстрировать причуды своего сознания, свою нравственную тонкость: Марсель он вполне доверял – скорее всего из лени. Он не терзался из-за нее, он просто думал: «Если у нее что-то есть, она мне скажет». Но она не могла говорить, у нее это просто не получалось. «Однако он должен был бы знать, что я не могу говорить о себе, для этого я недостаточно себя люблю». С Даниелем было иначе, он умел заинтересовать ее самой собою, когда так дружелюбно расспрашивал ее и смотрел на нее ласкающими глазами, и потом у них была общая тайна. Даниель был такой загадочный, он навещал ее тайком, и Матье не

знал об их близкой дружбе, впрочем, они ничего предосудительного не делали, так, милый фарс, но это сообщничество создавало между ними очаровательно-легкую близость; к тому же Марсель хотела иметь малую толику личной жизни, которая принадлежала бы только ей и оставалась бы ее маленьким секретом. «Ему нужно только поступать как Даниель, почему он не Даниель? – подумала она. – Почему один только Даниель умеет меня разговорить? Если бы он мне немного помог...» Весь вчерашний день у нее сжимало горло, ей хотелось крикнуть: «А что, если я оставлю ребенка?» Ах! Помешкай он хоть секунду, я бы так ему и сказала. Но он изобразил наивность: «Мы избавимся от него, разве не так?» И она не смогла выдавить из себя этих слов. «Он был обеспокоен, когда уходил: он не хочет, чтоб эта бабка меня изуродовала. Это – да, он пойдет за адресами, это его как-то займет, теперь, когда у него нет уроков, все лучше, чем канителиться с малышкой. Конечно, он был раздосадован, но как человек, разбиравший китайскую вазу. А в глубине души совесть его абсолютно спокойна... Должно быть, он пообещал себе, что щедро одарит меня любовью». Она усмехнулась: «Да. Но ему следует торопиться: скоро я перешагну возраст любви».

Марсель судорожно сжала руки на простыне, она ужаснулась: «Если я начну его ненавидеть, с чем же я останусь?» В конце концов она сама не знала, хочет ли она ребенка. Марсель видела издали в зеркале темную, слегка осевшую массу: это ее тело, тело бесплодной султанши. «А выжил бы он? Ведь я вся прогнила». Нет, она пойдет к этой бабке, пойдет ночью, ото всех прячась. И бабка проведет рукой по ее волосам, как она это сделала с Андре, и с видом гнусного сообщничества назовет ее «мой котенок» и скажет: «Когда девка не замужем, ходить с пузом – все равно что с гонореей, такая же мерзость»; «У меня венерическая болезнь», – вот что нужно себе говорить».

Но она не удержалась и нежно провела рукой по животу. Она подумала: «Это там». Там. Нечто живое и неудачливое, как она сама. Еще одна нелепая и никчемная жизнь... Внезапно она страстно подумала: «Он был бы мой. Даже идиот, даже калека – мой». Но этот тайный порыв, это невнятное заклинание были такими скрытыми, такими непристойными, их нужно было скрывать от стольких людей, что она вдруг почувствовала себя виноватой и ужаснулась сама себе.

## VI

Над входной дверью был прикреплен герб Французской республики, по бокам его свисали трехцветные флаги: это сразу задавало тон. Потом шли просторные пустынные залы; через матовый витраж падал сноп золотистого света, но тут же истаявал и обесцвечивался. Светлые стены, обивка из бежевого бархата, Матье подумал: «Это во французском духе». Французский дух был повсюду, на волосах Ивиш, на руках Матье: блеклое солнце и строгая тишина художественных салонов; Матье чувствовал, как на него давит бремя гражданских обязанностей: здесь подобало говорить тихо, не дотрагиваться до выставленных предметов, демонстрировать твердость и взвешенность суждений и никогда не забывать о самой французской из добродетелей – уместности. Кроме всего этого, естественно, на стенах были пятна – картины, но у Матье пропало всякое желание на них смотреть. Тем не менее он увлек за собой Ивиш, не говоря ни слова, показал ей бретонский пейзаж с придорожным распятием, Христа на кресте, букет, двух таитянок на песке и дозор всадников из племени маори. Ивиш молчала, и Матье терялся в догадках: о чем она могла думать? Он пытался изредка смотреть на картины, но это ничего не давало. «Картины не захватывают, – подумал он раздраженно, – они предлагают себя, а существуют они или нет, зависит только от меня, я свободен перед ними». Слишком свободен: это создавало в нем дополнительную ответственность, и он почувствовал себя виноватым.

– А вот еще Гоген, – сказал он.

Это было маленькое квадратное полотно с табличкой «Автопортрет художника». Гоген, бледный, гладкие волосы и огромный подбородок, на лице его написаны живой ум и печальная надменность ребенка. Ивиш не отвечала, и Матье украдкой посмотрел на нее: он увидел только ее волосы, но без обычной их позолоты, они лишились золотистости из-за мутноватого дневного света. На прошлой неделе, глядя на этот портрет впервые, Матье нашел его прекрасным. Но теперь он остался равнодушен. Впрочем, Матье и не видел картины: он был перенасыщен реальностью, пронизан духом Третьей республики; он видел все, что было реальным; он видел только то, что освещал этот академический свет: стены, полотна в рамках, покрытые цветовой коркой. Но не сами картины; картины угасли, и казалось чудовищным, что в этом торжестве Уместности нашлись люди, которые рисовали, изображали на полотнах несуществующие предметы.

Вошли господин и дама. Господин – высокий и розовощекий, глаза, как пуговицы на ботинках, мягкие седые волосы: дама напоминала серну, ей могло быть лет сорок. Едва войдя, они сразу вписались в обстановку – вероятно, это была привычка, а также неоспоримая связь между их молодежавым видом и качеством освещения; вероятно, именно освещение национальных выставок так хорошо законсервировало эту пару. Матье показал Ивиш на большую темную цвель на задней стене.

– Это тоже он.

Гоген, обнаженный до пояса, под грозовым небом, пристально смотрел на них суровым и обманчивым взглядом провидца. Одиночество и гордыня истребили его лицо; тело стало тучным и мягким тропическим плодом с полостями, заполненными влагой. Он потерял Достоинство – Достоинство, которое еще сохранил Матье, не зная, что с ним делать, – но зато он сберег гордость. За ним были темные тела, целый шабаш черных форм. В первый раз, когда Матье увидел эту непристойную и зловещую плоть, он был взволнован; но тогда он был один. Сегодня же рядом с ним было это маленькое злопамятное тело, и Матье устыдился самого себя. Он был лишним: огромные нечистоты у основания стены.

Господин и дама подошли и бесцеремонно стали перед картиной. Ивиш вынуждена была сделать шаг в сторону, потому что они мешали ей смотреть. Господин отклонился назад и

всматривался в картину с печальной суровостью. Это был знаток: в петлице у него виднелась орденская ленточка.

– Ну и ну! – произнес он, качая головой. – Мне это не очень-то по душе. Ей-же-ей, он принимает себя за Христа. И еще этот черный ангел там, за ним, нет, это несерьезно.

Дама засмеялась.

– В самом деле! А ведь правда, – тоненьким голоском сказала она, – этот ангел слишком литературен, да и все тут такое же.

– Не люблю Гогена, когда он думает, – глубокомысленно изрек господин. – Настоящий Гоген – это Гоген, который украшает.

Стоя напротив этого большого обнаженного тела, он смотрел на Гогена кукольными глазами, сухой и тонкий, в отменном костюме из серой фланели. Матье услышал странное кудахтанье и обернулся: Ивиш давилась от смеха и глядела на него отчаянным взглядом, кусая губы. «Она больше не злится на меня», – обрадованно подумал Матье. Он взял Ивиш за руку и довел ее, согнутую пополам, до кожаного кресла, стоявшего посередине зала. Ивиш, смеясь, рухнула в него; волосы ее свесились на лицо.

– Потрясающе! – сказала она громко. – Как это он сказал? «Не люблю Гогена, когда он думает»? А женщина! Лучшей ему и не подыскать.

Пара держалась очень прямо: казалось, они спрашивали друг друга взглядом, какое решение принять.

– В соседнем зале есть другие картины, – робко сказал Матье.

Ивиш перестала смеяться.

– Нет, – угрюмо сказала она, – все изменилось: здесь люди...

– Вы хотите уйти?

– Да, пожалуй, все эти картины снова вызвали у меня головную боль. Хочется немного пройтись, на воздух.

Она встала. Матье последовал за ней, с сожалением бросив взгляд на большую картину на левой стене – ему хотелось бы показать ее Ивиш: две женщины топтали розовую траву босыми ногами. На одной из них был капюшон – это была колдунья. Другая вытянула руку с пророческим спокойствием. Они были не совсем живыми. Казалось, будто их застали в процессе превращения в неодушевленные предметы.

Снаружи пылала улица. У Матье было чувство, будто он пересекает пылающий костер.

– Ивиш, – невольно сказал он.

Ивиш сделала гримаску и поднесла руки к глазам.

– Как будто мне их выкалывают булавкой. Как же я ненавижу лето! – яростно воскликнула она.

Они прошли несколько шагов. Ивиш передвигалась нетвердой походкой, все еще прижимая ладони к глазам.

– Осторожно, – сказал Матье, – тротуар кончается.

Ивиш быстро опустила руки, и Матье увидел ее бледные выпученные глаза. Мостовую они перешли молча.

– Нельзя делать их публичными, – вдруг произнесла Ивиш.

– Вы имеете в виду выставки? – удивленно спросил Матье.

– Да.

– Если бы они не были публичными, – он попытался снова обрести интонацию веселой фамильярности, к которой они привыкли, – спрашивается, как бы мы могли туда пойти?

– Ну что ж, мы бы и не пошли, – сухо сказала Ивиш.

Они замолчали. Матье подумал: «Она продолжает на меня дуться». И вдруг его пронзила невыносимая уверенность: «Сейчас она уйдет. Она думает только об этом. Наверняка она ищет

сейчас предлог для вежливого прощания, и как только она его найдет, то тут же выпалит. Не хочу, чтоб Ивиш уходила», – с тревогой подумал он.

– У вас какие-нибудь планы на сегодня? – спросил он.

– На какое время?

– На сейчас.

– Нет, никаких.

– Раз вы хотите прогуляться, я подумал... Вас не затруднит проводить меня к Даниелю на улицу Монмартр? Мы могли бы расстаться у его парадного, и, если позволите, я оплачу вам такси до общежития.

– Как хотите, но я не собираюсь в общежитие. Я пойду к Борису.

«Она остается». Но это не значит, что она его простила. Ивиш боялась покидать места и людей, даже если она их ненавидела, потому что будущее ее пугало. Она отдавалась с недовольным безразличием самым досадным ситуациям и в конце концов обретала в них нечто вроде передышки. И все-таки Матье был доволен: пока она с ним, он помешает ей думать. Если он будет без умолку говорить, навяжет себя, то, наверно, сможет хоть немного отсрочить всплеск раздраженных и презрительных мыслей, которые уже зарождались в ее голове. Нужно говорить, говорить незамедлительно, не важно о чем. Но Матье не находил темы для разговора. Наконец он неловко спросил:

– Вам все же понравились картины?

Ивиш пожала плечами.

– Естественно.

Матье захотелось вытереть лоб, но он не осмелился. «Через час, когда Ивиш будет свободна, она меня, несомненно, осудит, а я уже не смогу себя защитить. Нельзя отпускать ее вот так, – решил он. – Необходимо с ней объясниться».

Он повернулся к ней, но увидел слегка растерянные глаза, и слова застряли у него в горле.

– Вы думаете, он был сумасшедшим? – вдруг спросила Ивиш.

– Гоген? Не знаю. Вы имеете в виду автопортрет?

– Ну да, его глаза. И еще эти темные очертания за ним, похожие на шепот.

Она добавила с каким-то сожалением:

– Он был красив.

– Вот как, – удивился Матье, – никогда бы не подумал.

Ивиш говорила о знаменитых покойниках в такой манере, которая его немного шокировала: у нее не проглядывало никакой связи между великими художниками и их творениями; картины были предметами, прекрасными чувственными предметами, которыми ей хотелось обладать; ей казалось, что они существовали всегда; художники же были просто людьми, такими же, как все остальные: она не ставила им в заслугу их произведений и не уважала их. Она спрашивала, были ли они веселыми, привлекательными, имели ли любовниц; однажды Матье поинтересовался, нравятся ли ей полотна Тулуз-Лотрека, и она ответила: «Какой ужас, он был таким уродом!» Матье воспринял это как личное оскорбление.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.